70-летию
Великой Победы
посвящается

В.К. Мальцев:

Мое детство опалила война

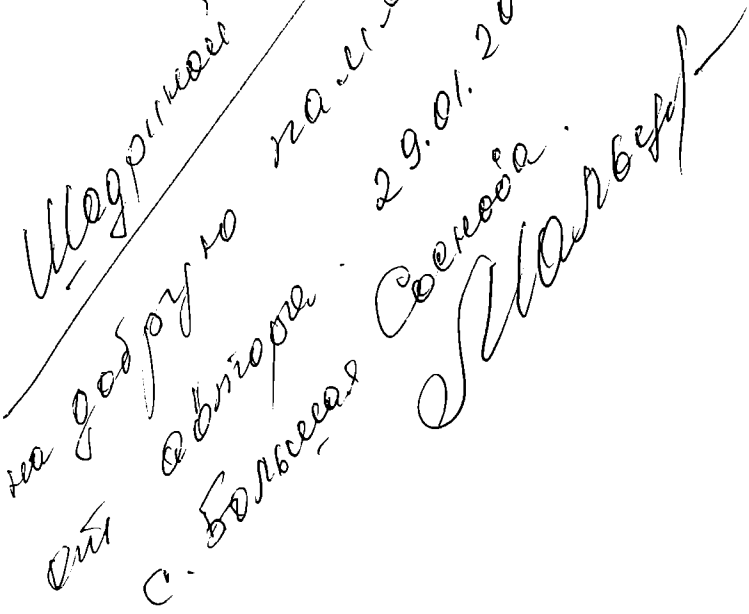
Шедрицкой Л.В.

на доработку заявления

автора

от 29.01.2016 г.

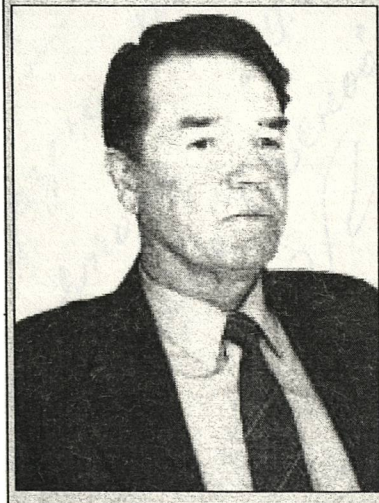
с. Большая Семеновка.



Памяти моих родителей
Кузьмы Егоровича
и Анны Тарасовны Мальцевых

ОБ АВТОРЕ

Виктор Кузьмич Мальцев родился 14 сентября 1940 года в деревне Овчата Очерского района Пермской области.



А почти вся его трудовая деятельность прошла в Большесосновском районе. После окончания мехфака Пермского сельхозинститута работал главным инженером сначала совхоза «Память Ильича», затем – управления сельского хозяйства. 7 лет – директор совхоза «Дзержинский», 11 лет – председатель Большесосновского райисполкома, оставшиеся 10 лет до выхода на пенсию – зав. орготделом райисполкома.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен высокого звания «Почетный гражданин Большесосновского района».

Его жизненному пути посвящены публикации в «Светлом пути» (12.09.2000) «Сын земли русской Виктор Мальцев» и в книге «Земля Сосновская» – «Счастливый человек Виктор Мальцев». «По дороге в Кремль Герой попал на гауптвахту»и «Дюнькина свадьба» – эти публикации 2001 года принадлежат уже перу самого Виктора Кузьмича.

Автор благодарит редакцию газеты «Светлый путь»
за помощь в издании книги

В.К. Мальцев:

Мое детство опалила война

Свои осознанные поступки я помню с весны 1945 года .... – Гена! Возьми меня завтра с собой сено собирать, – просил я старшего брата, залезая спать на полати, – хныкать не буду.

– Ладно, возьму, только воровски от бабушки удерешь на улицу к нам с ребятами, – ответил он, накрываясь рваным овчинным тулупом, – спи!

Для него, восьмилетнего паренька, брать меня с собой было просто обузой. Смотреть за маленьким – одна забота. Что случись..., мать накажет, от бабушки тумака получишь, а Миша – четырнадцатилетний брат и ремнем врежет. Михаил служил уже второй год сельсоветским почтальоном, дома бывал редко, но за проделки лупил вицей метко нас обоих.

Мама с темна до темна на работе: утром бежит на колхозную ферму, днем – в поле, вечером – опять ферма. Полноправной хозяйкой в доме оставалась бабушка. Сотворив утреннюю молитву перед образами, в переднем углу середи* дома затопляла большую русскую печь. Постукивая ухватом, ставила в нее наперво ведерный чугун с водой, затем чугунки поменьше для приготовления разного рода еды.

– Ребята, вставайте! – слышится бабушкин голос.

Мы давно не спали, ожидая ее разрешения слезать с полатей. Бабушка не проявляла к нам излишних нежностей.

– Креститесь, умывайтесь и не мешайтесь под ногами, – лился ее тихий голос. – Господи! Горе-то с вами, мать вся извелась в заботах, последний корм скотине седни натрушить осталось, как до лета доживать. Ох! За грехи нам кара господня!

– Светает, – шепчу я Геннадию и, застегнув одежонку, обуваюсь в новые, подаренные соседом, дедом Санкой, маленькие лапти.

– Вот и наст сегодня крепкий, – слышится голос мамы, вернувшейся с утренней управки на ферме. – Посылать надо ребят за сеном. Бабы сказывают, что сенные дорожки к остожьям* на лугах уже появились. Вытает корм корове, не пропадем!

Середь* – *кухня,*

остожье* – *основание стога сена, оставшегося после вывозки.*

Бабушка повеселела. Суетясь, взглянула на меня, но ничего не промолвила. Наверное, подумала: «И он сможет что-то собрать? Пора приучать, осенью пять годков будет».

– Нюра, налей им молочка да с хлебушком, пусть поедят, – провожает ласково бабушка нас к столу завтракать.

– Санки – розвальни берите, я веревку к ним привязала, – напутствует мама. – Крепче сено завяжите и скорее домой, пока наст держит.

А утреннее солнце, осветив заснеженные поляны вдоль родной речки Низпорички, сотворило на них невиданные мною чудеса. Тени вершинок елей и вересков четко виднелись на бесконечном ковре, сотканном из заледеневших снежинок, отливающих лучиками серебристого света. Тени выстроили сказочные строения на сугробах поляны. Мы несемся прямо в них, хрустя лапотками по насту. Санки не отстают, катятся за нами, постукивая пряслами на раскатах. Яркие отблески и морозная свежесть встречного ветерка слепят глаза, зацеловывают лица. От восторга выступают слезинки.

Разбежавшись по зимнему санному следу, собираем охапки сена. Но их немного.

– Гена, гляди! Там собачка прыгает, – кричу я брату, указывая рукавичкой на середину поляны.

– Да там лиса рыжая мышкует, – откликается Федя.

– Наверное, на остожье? – уточняет Коля Васюхин.

Они гурьбой бегут в сторону лисы.

Федя и Коля Васюхин, ровесники Геннадия, в эту зиму в школе не учились. «Бросили и ладно», – говорили их матери.

– Лису, лису поймайте! – не выдержав, заканючил я.

Ребята знали, лису не поймать. Но место остожья она точно укажет. Где остожье, там сено. Всем хватит.

– Молодец, лисонька! Всласть поработала: снег разгребла, мышей наловила и нам сена сворошила. Клади, не ленись, – переговаривались ребята, складывая остатки остожья в свои возки.

Солнышко поднималось к зениту. Пригревало. От сена повеяло пряным запахом трав. Обратный путь был тяжелее, наст стал мягче, но легкие лапти бережно ступали по нему, не проваливались. Поставили возок в загон и бегом в избу, к бабушке. Веселые, возбужденные.

– Лису видели, хвост у нее – во..., с твое, бабушка, печное помело! – звонко, глотая слова и размахивая руками, тараторил я, не умолкая.

Бабушка, не слушая, с беспокойством смотрела на старшего внучка.

– Притащили сена полные сани! – ответил Гена на ее молчаливый вопрос.

– Появится еще много корма, по всем лугам его собирать можно каждый день, пока речка не разольется, – продолжал он успокаивать бабушку.

– Ох..., дак ить знала я, ежеденно молилась. Не забудет нас Боушко, до тепла сытая будет коровушка, – причитала она, перебирая пальцами широкие концы гашника*, опоясывающего ее просторный дубас*.

Мы – дети войны, родившиеся до и в начале Великой Отечественной войны, жили разговорами всех жителей деревни только о войне и хлебе насущном, который доставался каждому тяжелым физическим трудом, начиная с трехлетнего и до преклонного возраста.

О хлебе, его цене и множестве съедобных добавок к нему знали все. А о войне, идущей где-то далеко, имели представление, как о страшном горе, периодически накатывающемся на деревню, когда малолетний почтальон Михаил приносил в дома похоронки на погибших отцов, сыновей и дедов. Я не знал такой семьи, дома, который бы обошла эта страшная весть.

Многие мальчишки и девчонки уже остались без отцов, погибших или пропавших без вести на фронтах войны. Не обошло горе и семьи Феди и Коли. Мне никогда не забыть, как мама вырвала из рук брата синий листочек – похоронку на погибшего отца Феди и полетела в избу своей подруги Нюры.

Крики двух матерей-солдаток, одна из которых уже стала вдовой, всколыхнули всю деревню, и никто не мешал им оплакивать свое горе.

Мне не было и пяти лет, я не знал, да и не мог подумать, что это горе будет иметь свое продолжение и, видимо, никогда не закончится.

Гашник* – *пояс из разноцветной шерстяной пряжи;*
Дубас* – *просторный сарафан длиною до пят.*

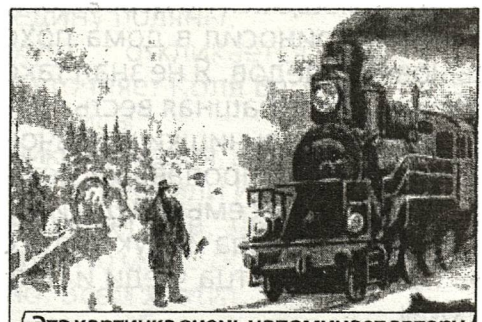
Бабушка, получая ежемесячное денежное пособие за погибших сыновей, плакала. Слезы душили ее. У мамы в постоянном страхе за отца, находящегося на передовой Западного фронта, и нас, четверых детей, слезинки часто скатывались на почтовую ведомость, когда она расписывалась в ней за причитающееся семье пособие. Две кучки бумажных денежных знаков были святыми для семьи, тратились при крайней нужде.

Вскоре, в один из дней рано начавшейся весны, мама сообщила нам, что пойдет на разъезд железной дороги. Говорили, да и Кузьма в письме намекал, что может воинский эшелон остановиться на разъезде «Волегово», и многие солдатки из соседних деревень собирались караулить там.

Видимо, поступали точные негласные сведения по всему пути их следования в ближайшие от железной дороги населенные пункты от солдат, дежурных станций и полустанков и народной молвой. Люди надеялись и шли на такие встречи: может, кому-то и выпадет долгожданная частичка счастья. И мама не ошиблась в своих предчувствиях.

С разъезда вернулась она поздней ночью, мы спали.

– Видела, видела Кузьму! Он бросил мешок гостинцев, слышала его громкий голос: «Ждите, скоро вернусь! Нюра, береги ребят!». И махал рукой, пока не скрылся состав за Волеговским переездом, – рассказывала и рассказывала мама утром, раскладывая содержимое солдатского вещевого мешка.



Эта картинка очень напоминает автору разъезд «Волегово»

А поезда грохотали и грохотали по просторам Урала, Сибири. Перевозили солдат с одного фронта на другой – на войну с Японией.

Что думалось отцу о нас, четверых детях? Обо мне, которого видел в последний раз качающимся в зыбке младенцем, усердно чмокающим соску из коровьей дольки.

– Вот Нине отрез кашемира на платье, нам с бабушкой – ситец на кофты, кусок фланели вам, ребята, на рубашки. – В сторону отставила тускло поблескивающие смазкой консервные банки, бережно развернула сверток белой материи, в котором оказались огромные куски сахара. Две буханки черного солдатского хлеба были венцом нашего счастья, прилетевшего от отца.

С каждым днем этой весны я ждал чего-то нового. В полдень, играя в ограде, слушал, как оседают и охают сугробы снега, звон первой капели с тесовой крыши дома, веселое чириканье воробушек, постоянно дерущихся меж собой. К вечеру наступал холодок. Продувал одежонку, кусал кисти рук. Я убегал в избу греться к бабушке на печку.

– Бабушка, хорошая! Скажи, почему к ночи зима весну красную заморозить хочет? – спрашивал я, грея руки об ее теплые щеки.

– По приметам, милок, сорок ден по утрам зима с летом встречаться будут. Ночью лютый Касьян зиме спать не дает, вот и злится старая, холодом веет. Утром солнышко весну хороводит, невестит, чтобы лето скорее зародилось, – тихо отвечала бабушка, разнимая пряди волос на моей лохматой голове.

– Спи, Витя ... Ить много весен у тебя на пути повстречается, каждой низко кланяйся, уж они-то, светлые, выведут на торную дорогу, – слышались сквозь сон слова бабушки.

Но порой мне приходилось отступать от ее добрых наставлений.

– Бабушка, ну дай мне кусочек сахара? – умолял я ее.

– Таскать сахар без проку не дам! – отрезала она.

На следующий день, когда все ушли из дома, я открыл залавок на середи и запихнул за пазуху рубашки приличный кусок сахара. В теплой избе расколоть его не успел: вошла мама. Я потихоньку оделся и топором расколол сахар в холодной завозне*. Собрал мелкие кусочки, посмотрел на лезвие топора. На нем блестели сладкие крошки. «Слизну и их!» – промелькнуло у меня в голове. Но язык прочно прилип к поверхности топора, в момент примерз к холодному железу. Как ни крутил я топор, язык следовал за ним.

Завозня* – *род надворной постройки с широким входом.*

В таком виде пришлось предстать перед мамой. Я мычал, роняя слезы на топор. Мама и без слов все поняла, пригоршней стала лить из чугуна теплую воду на обух топора. Язык освободился. Я плакал, уткнувшись в подол маминого платья.

– Нюра! Что опять варнак* содеял? Оставить одного нельзя, – появилась на середи бабушка.

Мама, смеясь, рассказывала о моем спасении.

– Горит язык-то? Давай, Нюра, открывай ему рот, гусиным салом помажем! Легче будет, – говорила бабушка, берясь за куриное крылышко, которым смазывала сковородки.

Давно за ужином не веселилась так наша семья.

– Что, Витя, не ешь? Язык болит? – прыснул от смеха Михаил и добавил.

– Сам бог порядком наказал тебя сегодня, драть уж не будем.

Я тоже улыбнулся, ощутив за пазухой спасенное богатство, про которое все забыли. «Пора угостить и братьев! От порки спасли, заслужили!» – подумал я и, встав на лавку перед столешницей, расстегнул пуговицу на штанах, из освободившейся рубашки посыпались на стол кусочки сахара.

– У...м...м...ы... – трубил носом, как наш деревенский немой Андриянко, указывал пальчиком братьям на сладкие комочки.

– Вот полюбуйтесь, первостатейный варнак растет! И в кого у нас он только народился? – качая головой, произнесла бабушка.

Бабушка, Маремьяна Андреевна Овчанкова, видимо, получила в одной из приходских школ образование со староверским толкованием Веры в Бога. Слыла среди жителей нашей и близлежащих деревень грамотной.

На полке середи нашей избы, под образами хранились божественные книги в переплете из толстой кожи, с медными застежками. Страницы книг были отпечатаны на староверском церковном языке и красочно оформлены. Каждая из них предназначалась для определенного рода молений, собираемых жителями деревни. Моления проводились часто, в основном о памяти погибших родственников на войне, скончавшихся раненых; девятины, сорочины по усопшим в семье.

Брала бабушка и меня на моления. По сей день помню

Варнак* – *хитрец*

порядок их проведения. Продолжались они в течение всего вечера. Я держался за подол бабушкиного дубаса, кротко перенося невзгоды от заунывного пения хора грамотных стариков и старушек, дыма ладанки, темноты. Дети постарше стояли около порога избы, отдавали поклоны вместе со взрослыми. Младшие пищали на полатях.

«Милости прошу, Маремьяна Андреевна, не побрезгуйте нашим столом», – говорила хозяйка дома, провожая бабушку в другую половинку избы, в которой накрывались столы для трапезы после молитвы.

Бабушка усаживала меня за стол с вкусной постной едой, рядом с собой. Как сладка была кутья из распаренных на меду зерен пшеницы! Но верх блаженства я испытывал во время подавания денежного вознаграждения. За усердное моление одаривали по-разному.

«Не обессудьте, Маремьяна Андреевна! Возьмите за труды Ваши», – говорила хозяйка и подавала с тарелочки бумажную денежку. Мне же, если сидел рядом с бабушкой, серебряный рубль, если среди ребят – медный пятачок.

Вот так сверкнула для меня первая капелька в познании азов экономического бытия. Бережно я нес денежку домой в крепко сомкнутой ладони. Кармашков в моих штанишках, сшитых мамой из крепкого домотканого холста, не было. Прятал монетки в щелях гладко струганных бревен избы. Бумажные рубли берег под рубашкой.

Братья не обращали внимания на мои сбережения, они знали, что на них в деревенском магазине ничего не купить: пусть играет, глядишь, к счету привыкнет.

... Весна топила снега. С угора катились ручьи талой воды. Запели скворцы, обживая свой улеек на высоком шесте, прибитом к воротам ограды. Я смотрел на оживающую вокруг природу и думал о том, как поиграть вместе с ней. Откопав снег под воротами ограды, пропускал ручеек. С шеста, на котором крепился скворечник, спугнул кошку.

– Ишь, чего захотела. Я те поймаю скворца! – бормотал я, кидая в нее снежками.

– Так ее, блудливую, молодец! – похвалил Миша, заходя в ограду. – Геннадий вернулся, притащил сена? – спросил он.

– Ишо нет. Вчерась с ребятами за Чепцу ходили, близко сено уже собрано, – отвечал я.

– Ну-ка, браток, собирай свои денежки! Кино будут показывать в избе-читальне, да побыстрее, – строго пробасил Михаил.

Я знал, что деньги нужны для покупки билетов в кино, быстро собрав монетки, передал их Михаилу.

– Не хватит, – пересчитав монетки, сказал он.

– Пусть пазуху тряхнет! Там у него бумажные рубли да трешки хрустели, – услышал я голос вдруг появившегося Геннадия.

Я молчал. Было жаль расставаться с истинно святыми для меня деньгами.

– Бабушка, спаси! Деньги отбирают! – завизжал я.

Но ловкие руки братьев вмиг сдернули с меня штанишки, рубли выпали.

– Теперь хватит! – произнес Михаил.

– Окаянные, креста на вас нет! – шумела опоздавшая бабушка, ладонью смахивая слезы с моего лица.

– Не реви, пусть бесятся они вместе с чертями в кино, – успокоила она. – На них грех ляжет!

Братья вернулись из кино веселые.

– Война кончилась! Германия сдалась! Капут Гитлеру! – наперебой кричали они. – В избе-читальне сельсовета сообщили!

Но мама молчала, слушая их восторженные возгласы. Она думала об отце, который уехал на другую Войну. Живой остался на одной, вернется ли с далекой войны с Японией? И, крепко прижимая меня к себе, заплакала.

– Некому уж возвращаться в деревню, – говорила бабушка. Из всех мужиков пришли только с перебитой ногой, хромой Иван Денисович, весь израненный Петр Евдокимов да контуженные буйные братья Афоня и Трофим Никифоровы.

– Сколько вдов с сиротами на руках осталось, как жить-то? – нараспев причитала она. – Молись Богу, молись, Нюра, за Кузьму, детей! Бог защитит нас, грешных.

... В конце мая зазеленели поляны поскотины*, обнесенной высокой изгородью. Подсыхали дорожки. По ним Михаил объезжал велосипед, подаренный тетей Еленой, вдовой

Поскотина* – *огороженная луговина на окраине деревни, у ручья или речки.*

маминого брата Федота, погибшего еще в начале войны. Елена жила в городе Молотове, а велосипед привезла к нам в деревню в наступившую победную Весну.

– Маремьяна Андреевна, Федота уже нет, детей нам Бог не дал, пусть ребята ездят на нем, вам на радость и в память о дяде. Федот просил меня, когда уходил на фронт: не вернусь, увези велосипед племянникам, – говорила тетя Елена бабушке, роняя крупные слезы на концы кашемирового полушалка.

– Воля твоя, Елена, но сдурим мы с Нюрой с ребятами, вишь, Мишка уж уповод* катается на нем, работу забыл, варнак! – отвечала бабушка. – У самой - то ведь ничего не осталось, продала бы велосипед. Помочь тебе, видишь, нечем. Ох, совсем никудышная жизнь в деревне – то стала с войной да колхозом! – продолжала она, понимая душой, что видит сноху в последний раз.

Тетя Елена больше не приезжала. Велосипед мы берегли, служил он нам более десятка лет. В осеннее и весеннее время трех лет учебы в десятилетке Очера мне удавалось на нем преодолевать расстояние до школы в тридцать верст за два часа. Участвовал в велосипедных гонках, проводимых среди десятиклассников двух средних школ Очера, брал призовые места.

.... Теперь после молений я вручал братьям денежки. За это они катали меня: Михаил на велосипеде, а Геннадий – на старенькой, смирной лошадке, пасущейся в поскотине деревни. А в вечернее время водили в избу-читальню смотреть сеансы немого кино. Изба-читальня размещалась в просторном доме раскулаченного жителя деревни Никифора, рядом с сельсоветом. Малышей в кино не пускали, братья прятали меня под лавку, на которую затем садились. Многие зрители не вмещались в зал, теснились вдоль стен, раскрытых окон и дверей избы-читальни.

Я смотрел на экран между ног сидящих братьев. Герои фильма сначала что-то шептали, затем на экране появлялись слова из печатных букв. Складывающиеся из слов строки Михаил говорил мне. Если он замолкал, я тянул его за пятку. Действие картины: воюющие солдаты, движение машин, самолетов мне было понятно без всяких слов.

Уповод* – *половина рабочего дня в обиходе крестьян.*

Часто после первой части невоенного фильма я засыпал. И почти не помнил, как братья вытаскивали меня из-под лавки в конце сеанса, брали на закрошки* и несли так и не проснувшегося домой. Но на сеансе фильма «Белый Клык» во время сцены драки собак я мигом выскочил из-под лавки, подбежал к экрану и, сжав кулачки, закричал: «Белый клык, кусай его, кусай!». Михаил поймал меня и, к удивлению, не возвратил обратно под лавку, а посадил к себе на колени. До конца фильма я был понимающим что-то зрителем.

Летом 1945 года мне доверяли выполнение несложных домашних работ: пасти на лужайке стайку гусей с выводком пушистых гусят, вовремя выгнать забредших на грядки куриц, встретить корову с маленьким теленком. Но большую часть долгого летнего дня я был предоставлен сам себе. Уходил за огороды на угор, по склонам которого собирал спелую землянику. Подымаясь по дорожке, петляющей меж редких кустов, достигал вершины угора. С его высоты открывался взору нижний конец деревни. В низине теснились друг к другу загороди усадеб, на сухих местах которых стояли избы, стаи, амбары. Строения утопали в зелени черемух, рябин, кустов смородины и малины. В огородах перемежались посевы хлебов, картофеля и грядки. За усадьбами виднелись владения поскотины. Лужайки, на которых паслись лошади колхоза и резвились их жеребята. Шумный сколок хвойного леса с гнездами стрекочущих сорок и ворон. Ручей, неторопливо текущий из верхнего пруда деревни. И дымная кузница на окраине леса.

А далеко, за лугами Низпорички, темнел сосновый бор, раскинувшись по крутому берегу реки Чепцы. Сколько потаенного открывалось мне...

– Вставай, умывайся и молитву не забывай, – говорила по утрам бабушка, видя мои уже открытые глаза. – Шаньги, кринку с молоком найдешь на середи, прикрыты рушником. Недосуг мне с тобой, полоть грядки надо.

В войну редко пекли караваи хлеба в деревне. Запасы муки в семьях были не велики. На трудодень в колхозе ее получали по двести, триста грамм, хлеба не хватало задолго до весны.

На закрошки* – *на плечи.*

Подметая каждое зернышко в сусеках склада колхоза, мололи муку для выдачи летнего аванса. Муки на семью Михаил приносил полмешка.

– Нюра, муку беречь надо, растянуть до свежего хлеба, – говорила бабушка, высыпая ее в ларь.

– Растянем! Молоко и масло коровка дает. Картофеля, моркови много в яме еще. Пистиков насобирали достаточно, лук растет, да всего хватит, – отвечала мама. – Пироги да шаньги наши спасут.

Тесто они раскатывали на круглые сочни, на которые толстым слоем ложилась начинка. На шаньги из толченого картофеля, моркови, творога. Для пирогов готовились смеси мелко рубленных пистиков, зеленого лука, капусты. Шли в дело сладкие начинки из сухих ягод калины, рябины, черемухи, тонко размолотых на ручной мельнице. Как вкусны были пироги и шаньги после жара русской печи! Смазанные топленым маслом, они источали аромат цветущих лугов.

.... Спустя многие годы, в рабочих поездках по району, встречаясь с женщинами, ненароком спрашивал: «Что же вы, голубушки, стряпали сегодня для своей семьи – пироги или шаньги?» Ответ был банально прост: «Что за праздник – шаньгами потчевать!».

...Через десятки лет, в журнале «Крестьянка» меня поразила картина бывшего крестьянина Вологородской области Н.А. Макарова «Жатва». Я увидел себя в мальчике, сидящем на снопе рядом с постеленным суслоном. Маму – в разогнушей спину жнице, руки которой гордой держали серп и горсть хлебных злаков. Уставшую бабушку, завязывающую очередной сноп. Наше далекое, драматическое крестьянское существование преображалось в красивый, гармоничный, любовно написанный художником мир. Мир, отражающий истинную природу труда, суть его приложения и радость содеянного...

В конце августа мама с бабушкой начинали жать хлебную постать* нашего огорода. Жали серпами, кланяясь стенке зернового клина, складывали горсти хлебных стеблей в снопы. Из снопов ставились суслоны, в которых колосья с зерном хорошо просыхали. В течение дня я помогал

Постать* – *участок, заранее определяемый под посев зерновых культур или посадку овощей.*

стаскивать снопы, подбирал оброненные колосья, выбрасывал сорные растения. Уставший, падал на сноп, обнимая его, отдыхал.

В холодные дни октября просохшие снопы околачивали под крышей завозни. Михаил и Геннадий ловко колотили увесистыми вальками по колосьям снопа, отбивая зерно от плевы. Зерна упругими брызгами ложились в кучки жита. Мама наполняла житом большое сито, кружила, встряхивая его, отделяла зерно от остатков плевы, сыпала его в ворох. Бабушка деревянной лопатой веяла ворох на сквозном ветерке настежь открытых ворот завозни. Провеянные зерна золотились в лучах осеннего солнца, источали незримую силу, достаточную для будущих всходов и оплаты труда хлебороба. Из десяти мешков собранного зерна два уносили в клеть на семена, остальные складывали в амбар.

Каждый месяц мама увозила на санках по мешку зерна на размол. Ветряная мельница располагалась на ровной поляне нашего угора. Она представляла собой простейшую механическую систему полезного использования энергии ветра. Крылья, валы и шестерни мельницы изготовлялись умельцами деревни из подручных материалов, кроме массивных жерновов, высеченных из камня, обработанного руками горных мастеров. Жернова завозились по заказу, имели свои названия.

Мельник, он же кузнец, дядя Никола любил подзадоривать ребятню. Словно дед Мороз, белый от буса муки, открывал нам тяжелые двери мельницы, приглашая войти в ее скрежещущее нутро. Мельник разрешал нам полазать по крутым лестницам, посмотреть привода вращающихся горизонтального и вертикального валов, окунуть ладони в горячую муку ссыпного ларя. Он говорил прибаутками, ласково, с хитринкой, приглядываясь к каждому из нас. «Живы остались мальцы! Не зря собирал я бус по углам мельницы, отдавал его матерям, – думал мельник, сверкая глазами. – Вырастут из них мужики. Вырастут и встанут взамен убитых. Не пропадет деревня!».

– С богом! – говорил он, провожая нас на волю в объятия холодного ветра. Покинув мельницу, мы смотрели на ее медленно кружившие крылья. Одно за другим, почти

касаясь поверхности снежного сугроба, снова и снова поднимались они в высь неба.

Мы тут же затевали игру в «победителя». Ухватившись руками за перекладину крыла, поднимались за ним вверх и, достигнув пугающей высоты, отцеплялись, падая в пухлый снег. Кто поднимался выше всех, тот считался победителем. Бдительный мельник, зная наши повадки, вовремя разгонял безобидным взмахом хворостины. Но, когда заставали нас в игре матери, хворостинка гуляла по спинам, доставалось своему и соседскому одинаково.

А как ждали мы хлеба из муки свежего помола!

– Бабушка, скоро ести будем? – нетерпеливо спрашивал я.

– Скоро, скоро, вот уладятся караваи, и накормим вас! – отвечала она, укрывая их скатертью

– Нюра, налей уж им в блюдо сметаны, – неожиданно просила она маму. – Да поставь на стол!

Не постный день сегодня, можно!

Горячими ломтями хлеба мы поддевали сметану из общего блюда и ели, ели вдосталь, захлебываясь от блаженства ....

Зима в этот победный год наступила рано. На время холодов в нашей большой избе дополнительно к русской печи ставилась печурка-времянка. Изготовленная из железа, она топилась жарко, быстро отдавая тепло. На ней можно было легко испечь и картофельные «оладьи». Мы с Геннадием разрезали картофелины на ровные кружочки, которые лепили по бокам печки. Поджарившись, они падали прямо в руки.

Однажды, проснувшись поздним зимним утром, я не застал никого в доме. Все ушли по своим неотложным делам. Только где-то на середи мурлыкала кошка. Поев щей из чугунка, стоящего на печурке, угостив ими и нашу пеструху, я подумал: «Не закрыть ли ее в теплую печку? Ведь печка, как маленький домик». Враз поймал пеструху и поместил ее внутрь «домика», закрыв дверцу на защелку. Вначале в печке было тихо и спокойно. Затем кошка, видимо, разворошила лапами угольки, тлеющие в золе, и обожглась ими. Что тут началось! Ходуном заходила печка, из ее щелей повалили клубы пыли, сопровождаемые воплями обезумевшей кошки.

– Окаянный, что ты творишь! – голосила бабушка, вбегая из сеней, оставляя открытыми двери. Вмиг освободила метавшуюся в печке пеструшку. Кошка пулей пролетела до дверей избы, через сени и на улицу.

Я стоял в клубах пыли, стараясь оправдаться:

– Бабушка, кошка ведь сама попросилась в печке погреться.

– Я те сейчас «погреюсь»!– кричала она, одной рукой ухватив ворот рубахи, а другой дубася по моим бокам. – Вот до че докатился, живую кошку палить придумал! Весной за бобы не отлупили, мать пожалела, видишь ли, маленький! Вот те ...думай напотом! – бросила драть меня бабушка, наказав и за бобы.

... Помню, мама не разрешила есть приготовленные для посадки бобы, отмоченные в воде. Высыпав их в сито обтекать, все отстраняла мою тянувшуюся к бобам руку.

– Нельзя, Витя, на посадку не хватит. Вырастут они, вот тогда и поешь, – ласково убеждала мама.

Черные и коричневые бобы манили, как конфеты в магазине. Она посадила их рядами на грядке и ушла на работу. Я переворошил часть грядки, как грач, доставая и поедая бобы. Увидели измятую грядку поздно вечером, когда я уже спал.

– Да кто же мог сотворить такое? – гадала бабушка.

Утром мама, глядя на мое измазанное землей лицо, строго сказала:

– Не таскай больше бобы с грядки, Михаилу скажу, уж он-то из тебя дурь выколотит.

Иногда за проявление «длинной руки» и недалекого разума наказание наступало сразу. Так бабушка, сея ситом муку, все отталкивала меня от стола на середи. Я вертелся около нее, смотрел и думал: «Пироги, видно, собралась стряпать? Не даст, хоть проси - запросись!» А горка муки все росла и росла на столе, манила. «Видно, из ягод черемухи и рябины? Вишь, мука красная?» – мелькнуло в голове.

Улучив момент, запустил ладонь в аппетитную горку и, сжав в кулачке, юркнул в проход за печью, на ходу отправив муку в широко раскрытый рот. Ощутив резкую, жгучую боль, замер. Остановился, как наш дворовый петух, заглотивший непомерный кусок, и, вытянув кверху шею, молча пятился от стайки куриц. Мне в такой же позе пришлось пятиться обратно к бабушке.

Увидев меня, она ахнула. Горсть мелко просеянного красного перца остановила дыхание, лишила меня последнего разума.

– Носом дыхни, варнак!– вскричала оторопевшая бабушка.

– М... н... м... н, – мычал я носом, захватывая одновременно воздух и слезы.

Она, испуганная не меньше меня, промывала все, что считала нужным, слегка поколачивая мое лицо и грудь. Отпаивала теплым молоком.

– Запомни, Витя! Бог все видит, ить как наказал тебя за воровство. Я не доглядела, а ведь его архангелы всюду с нами, грешными, все видят, – шептала бабушка мне, присмиревшему на ее коленях.

Этот урок надолго запомнился мне. Даже вид горячих красных пенок, снятых бабушкой с топленого молока, не вызывал во мне былого восторга, а таил какую-то очередную опасность.

В трескучие морозы, наступившие в конце декабря 1945 года, выходить на улицу мне строго запретили.

– Не отпускай его, враз отморозит руки и ноги! – просила мама бабушку, после завтрака уходя на работу.

– Да спрятала уж далеко, и лапти, и одежонку его, не скоро найдет, – шептала ей бабушка.

– В письме-то Кузьма писал, что скоро вернется с войны. До города Молотова, грит, эшелоном доедут, до разъезда на попутном поезде, тут уж дом рядом, – говорила мама. И, посмотрев на меня, улыбаясь, добавила: – Встречать отца будем, сынок!

Весь день, ожидая папу, играл на лежанке русской печи, гоняя усатых тараканов по брусьям печи и полатей. Часто, спускаясь в холод избы, дул на замерзшие стекла переднего окна, скреб их ногтями, очищая ото льда, и смотрел на улицу: не идет ли папа?

– Гена, а папы на улице не видно? – спросил брата, пришедшего из школы.

– Отстань, видишь, я замерз до костей, не приедет он сегодня в такую холодину, – ответил он, стуча зубами, грея руки о бока печи.

М. Савин. герой Советского Союза гвардии майор Николай Пинчук в родном колхозе, июль-август 1945 г.

«Так когда же он придет?» – думал я, засыпая в теплой маминой кровати.

А отец, Мальцев Кузьма Егорович, морозным утром следующего дня уже сходил с товарного поезда на разъезде «Волегово» в десяти километрах от нашей деревни Овчата. Около полудня в наш дом, с улыбкой открыв дверь, вошел мужик, одетый в длинный тулуп, доставая шапкой до полатей. Зашел и не остановился, как все деревенские у порога избы, а широко расставив руки, двигался ко мне, мирно сидящему на лавке около стола. Постепенно улыбающееся лицо его покрывалось сеточкой морщин, по которым катились слезинки из добрых глаз.

– Бабушка, бабушка! – заголосил я и шмыгнул мимо незнакомца на середь, где копошилась она, переставляя в печи чугунки.

Одного поворота головы хватило ей, чтобы увидеть в проеме середи своего зятя, мужа дочери, отца своих внуков, почти пять лет не переступавшего порога родного дома. Из рук бабушки выпал ухват.

– Нюра, скорее домой бежи, скорее! – слышен был ее удаляющийся голос.

Я скрылся в проходе за печью и, мигом пересчитав ступеньки лестницы, забрался на полати. С их высоты немигающими глазенками наблюдал за снимающим тулуп отцом. Повесив его, он остался в красивой шинели с погонами на плечах и двумя рядами блестящих пуговиц. Шинель почти касалась носков чистых, черных сапог.

Все эти минуты он смотрел на мою торчавшую под брусом белую, как сметана, голову. Улыбался и молчал, видимо, зная, что пугать сейчас малыша никак нельзя. Запыхавшаяся мама, скидывая с головы тяжелую шаль, бросилась на грудь живого и невредимого родного человека, всхлипывая, выдыхала:

– Кузьма, Кузьма, дорогой! Вот и вернулся!

– Не плачь, Нюра, все хорошо, я дома, вот и свиделись! – говорил отец, гладя ладонями ее волосы.

Оторвавшись от отца, мама стащила меня с полатей. В объятиях родителей я заплакал, отшатнувшись от колючей щеки отца.

– Сыночек, вырос-то как! Не думал увидеть такого парнишку, – говорил отец, снимая шинель.

Посадив меня на лавку, мама повесила шинель на почетное место передней стены дома в ряд с белыми рушниками. Шапкой отца завладел уже я, гладил и гладил звездочку на ней.

Отец в гимнастерке, туго перетянутой ремнями портупеи, поскрипывая сапогами, двигался в сторону середи.

– Маремьяна Андреевна, низкий поклон от меня за труды твои, – обняв ее за плечи, говорил отец.

– Не забывает нас Бог, с божьей помощью и живы остались, семью сохранили, вишь, все на ноги встали, – отвечала бабушка, поправляя на голове сбившийся платок. И снова засуетилась, застучав посудой на столе.

Мама, накрыв стол белой праздничной скатертью, ставила на него все, что подавала бабушка из печи и голбца с зимними запасами. Украсила стол четвертью янтарного хмельного пенника, с залитым воском горлышком.

Весть о приезде Кузьмы Егоровича быстро разнеслась по деревне. Почти одновременно вбежали в дом Нина, Михаил, Геннадий. Они хорошо помнили отца.

– Папа, папа! – бросились они к нему, забывая все на свете.

Отец, смахивая скупые слезинки, обнимал и целовал их, пристально смотрел на каждого. «Как они изменились за эти долгие годы войны!» – думал, наверное, он.

Восемнадцатилетняя дочь Нина, окончив бухгалтерские курсы, работала счетоводом в правлении колхоза, уже невестилась. Пятнадцатилетний Михаил, почтальон деревни, не будет больше терять времени, после Нового года продолжит учебу в семилетней школе. Девятилетний Геннадий, много отставший в учебе, наверстает, сможет два класса начальной школы за зиму окончить. Младшему шестой годик идет и, судя по его уверенному труду за праздничным столом, далеко пойдет, учиться ему времени хватит.

– Маремьяна Андреевна, Анна Тарасовна, любимые дети! Выпью за вас, за здоровье каждого, за счастье вернуться домой, за пережитые горькие годы войны, за всех погибших и без вести пропавших на чужбине друзей – земляков, за радость встречи!

Так (или примерно так) говорил мой отец, 45 лет отроду, прошедший в молодости Гражданскую и вдосталь хлебнувший невзгод в Отечественную. Две войны отняли у него восемь лет из прожитого. Тихо позванивали награды на его гимнастерке, бросая отблески света на присмиревших детей.

...В первые послевоенные годы безразличия к заслугам воевавших мы, пацаны, разбирали медали, дисками их играли в «чику».

– За победу! – кричали многие, метясь диском в стопку поставленных монет. Монетки веером разлетались при удачном попадании «награды». Мы дорожили такими битами, дрались из-за них.

Не думали мы, что наступят годы, когда вспомнят заслуги ветеранов-фронтовиков, отмечая юбилейные даты Победы. Спохватятся наши постаревшие родители, вспомнят о наградах, перетряхнут семейные сундуки, а их нет. Как нет и в домах их повзрослевших чад ....

К вечеру мама зажгла керосиновую лампу «Молния», подвесив ее к потолку избы. Ярко засветились окна нашего дома, на огонек которых собрались жители деревни: фронтовики, по случаю встречи одетые в гимнастерки, многие с костылями в руках, их жены и вдовы, мужья

которых не вернулись с войны. Приветствовали друг друга, не сдерживая слез. Затем чинно рассаживались по лавкам, заводили разговоры о войне и житейских нескончаемых неурядицах.

Сияющая, счастливая мама обходила сидевших односельчан, поднося каждому стаканчик вина, по рядам передавалась миска с пенной брагой. От всей души благодарила мама всех, кто не отказывал в помощи нашей семье пережить трудное военное время. Движения, глаза ее говорили: « Видите, вернулся хозяин, спадет с меня забота одной думать о завтрашнем дне: чем накормить, во что одеть детей своих».

Понимали маму без слов. Все знали, как в самый голодный год войны две Анны с деревни отправились сбирать хлеб на захудалой лошадке, выменивая любое жито на последние вещи и денежные пособия своих детей и бабушек. Более ста километров исколесили они, добираясь до дома, ведя в поводу обессиленную Лысанку. А потом под мерцающий огонек коптилки, слюнявя губами химический карандаш, закорючками писали на фронт мужьям не о своих лишениях, а только о том, что дети сыты и в тепле. Отцы-солдаты читали по слогам слова из писем-треугольников, лежа в сырых окопах заболоченной Новгородской земли, под свет трассирующих очередей.

Осмелев, глядя на старших братьев и сестру, не отходивших от отца, я осторожно тронул сначала погоны на его гимнастерке. Затем, встав на лавку, почему-то стал поправлять уши, торчащие в стороны от наголо побритой головы. Отец осторожно прижал мое маленькое тельце к своей груди и, опустив лицо в копну моих нестриженных волос, жадно вдыхал забытый запах.

Затянутая кем-то грустная песня оборвалась, мама заплакала, увидев меня на коленях отца. Гости поднимались, прощаясь, приглашали к себе. Яркий свет «Молнии» начал постепенно тускнеть от заканчивающегося в ней керосина. По привычке я юркнул под одеяло маминой кровати, из-под которого наблюдал за тенями все еще сидевших рядышком отца и мамы.

Проснулся я утром в постели бабушки. Запечным ходом, шлепая голыми ступнями, протопал к умывальнику и справил «струйку» в лохань под ним.

– Ку-ка-ре-ку! – отозвался петух, встревоженный стучанием рожка умывальника, обитающий в зимнее время с пятком куриц в теплом закутке, под шестком печи.

Протирая глаза, я услышал поскрипывания кровати в большой половине дома. Подтянув штанишки, на цыпочках пробрался к углу печи и замер, увидев встающего с кровати отца. Он, одеваясь, повернул бритую голову в мою сторону и, улыбаясь, сказал:

– Новая жизнь начинается у нас, сынок! Для начала приведем тебя в порядок.

В руках отца появилась стригущая машинка. Я видел такую машинку, ею стриг счетовод Пашка мужиков в конторе колхоза. Иногда они тузили Пашку по шее за причиненную им боль или на смех оставленные на голове клоки волос.

– Потерпи, Витя, больно не будет, – сказал папа и застрекотал машинкой. Машинка щипала кожу, но я терпел, не хныкал.

– Молодец, а сейчас взгляни на себя, – сказал папа и приподнял меня к зеркалу, висевшему на стене. В нем отразилась похожая на отцовскую, с торчащими ушами голова.

– Батеньки мои! – всплеснула руками бабушка, выглянув из середи. – Еще одним «коммунистом» добавилась семья, – произнесла она, с укором взглянув на папу.

Коммунистом бабушка называла отца и раньше, видимо, с 1933 года, когда его в числе двадцатипятитысячников направили председателем нашего колхоза. Как истинная староверка, она не очень жаловала его за принадлежность к партии коммунистов.

В полдень, когда вся семья уселась за обеденный стол, папа каждому вручил подарки.

– Витя, Геннадий, от меня вам на память о войне, – говорил, подавая нам по зеленому стеклянному шару. – На море Тихого океана подобрал, сберег для вас. Играйте, берегите их!

... Что мог подарить своим детям солдат, вернувшись с войны? Знал, что ничего! Он и положил в мешок два шара, выброшенных волной на песчаный берег моря, и привез за тысячи километров, на радость малышам....

За столом, усердно уминая бабушкины пироги, я все поглаживал наголо стриженую голову, показывая братьям ее сходство с отцовской.

– Не крутись, дурачок! – шлепнул Геннадий, ущипнув меня за бок. – Папа не бабушка, защищать не станет, понял?

Я обвел взглядом застолье и не увидел бабушки. Бабушка выводилась со мной с пеленок, растила и берегла меня от всех бед. Десятки ее внуков и внучек не получили и толики забот, отданных мне. Вернулся отец, и вместе с радостью за семью она загрустила. Бабушка сразу же уединилась, как она считала, от мирских шумных застолий и обедала одна на середи за столом, стоящим под Образами.

Из папиного овчинного тулупа мама сшила нам с братом полушубки. Они выглядели неказисто, но украшенные двумя рядами солдатских пуговиц походили, как говорили наши сверстники, на «буржуйские». Стараниями отца появились у нас и новые валенки. Такую радость доставил нам папин друг, старый катовал из соседней деревни. В новой одежонке, тепло обутый, я стал провожать по утрам Геннадия в школу. Начальная школа располагалась в верхнем конце деревни, занимала два этажа бывшего дома богатого купца. Здание школы было самым красивым строением деревни. После звонка ребята убегали в классы на уроки. Меня же техничка школы Стеша Кормиха выгоняла на улицу:

– Иди, иди! Рано тебе ишо в школе учиться.

Я уходил и стучался в дома бабушкиных знакомых старушек, прозвища которых и сейчас помню: Петиха, Васиха, Трофимиха. Иногда в знак большого уважения употребляли двойные имена: Нюрка Ваниха, Катя Трошиха. Получив от них сладкие заедки, направлялся к Филимоновой избе, в которой жил мой одногодок Витя Щипицын. Дедушка его, шустрый старик Филимон, около своего дома держал заезжий двор. Вечерами он наполнялся шумной толпой ямщиков, колхозников из дальних от железнодорожной станции деревень и сел. Конные обозы, перевозившие зерно и семена, почти ежедневно останавливались в заезжем дворе Филимона на отдых.

Витя был хромой, годика в три выпал из окна избы, сломал ногу. В зимнее время он из дома выходил редко и всегда был рад моему появлению.

Играли мы с ним до сумерек, затем, видя, что темнеет, дедушка Филимон говорил:

– Ну, шкеты, по местам! Тебе, внучек, на полати! А тебе, тарасовский отпрыск, пора домой, – называл он меня по имени дедушки Тараса, указывая на двери.

В иной день он, встречая очередной обоз, забывал вовремя разогнать нас. Мы забирались на полати и смотрели сверху на садившихся ужинать ямщиков, около которых юлой крутился дед Филимон.

– Бражки бы нам с ведерко поставил, – обращался старший ездовой к деду.

– Да ить ты, Игнат, за прошлое выпитое долг имеешь. Тащи с пудок овса, налью ведро теплухи! – скороговоркой отвечал Филимон.

– Побойся бога, отец, в прошлый раз три пуда овса стряс, говорил, на три браги хватит. Где же брага? – кипятился ямщик.

– Сорок верст нам завтра ехать еще, от лошадей овес оторвать прикажешь?

– Дык, миску зерна насыпь, которое везешь, – не сдавался Филимон.

– В тюрьму дед захотел! – выпалил ямщик, стуча по лавке тяжелым кулаком.

– Сейчас, сейчас налью теплухи, уж после как-нибудь сочтемся, – запыхтел струхнувший Филимон, залезая на печь к бочонку с брагой. Оглядываясь, трясущимися руками наливал он брагу. Заметив нас на полатях, заорал: «Марш отсюдова, шпион!» И, схватив цепкими сухими пальцами меня за ухо, сбросил с полатей. Задом пересчитав ступеньки лестницы, я выскочил из дома. Вслед за мной летели валенки, шуба и шапка.

Горько обиделся я на старого Филимона. Еще обидней было думать о том, что ни за что выпорет дед и Витин зад, не пожалеет своего внука.

– Нашатался, пришел? – говорила мне бабушка дома. – Уши то обморозил ведь, варнак! Жаром горят, простыл, наверное? – и взяла в руки мои пылающие уши.

Я посмотрел на бабушку и радостно подумал: «Хорошо, хоть штаны мой зад прикрывают, не видит она его, не менее каленый, чем уши».

Обидевшись на деда Филимона, я с неделю не ходил по деревне. Помогал Геннадию пилить, колоть и складывать дрова. Бабушка хвалила нас и угощала вкусным печеньем. Сладости она держала под замком в своем сундуке и щедра была с нами не часто. Михаил учился теперь в школе-семилетке, дома бывал только по воскресеньям, мучил нас редко.

Соскучившись по играм, я клал свой зеленый шарик в обрезок маминого чулка и снова направлялся к Вите. Я знал, что он не мог далеко бегать от своего дома и ждет меня.

– Заходи, Виктур, гостем будешь, – говорила его бабушка, встречая меня на пороге избы. – Поиграйте пока, а я к соседке Максихе схожу. Шибко звала она меня вчерась помочь ей со стариком новую стену в красна* ставить, – распевно лились слова бабушки Филимонихи.

– И мы с тобой, бабушка, пойдем, помогать вам будем, – заголосили оба, уговаривая ее взять с собой.

Красиво обшитый дом Максихи стоял на краю деревни, в нем я еще не бывал. Старики-староверы жили обособленно, вели единоличное хозяйство, в колхоз не вступали.

– Проходи, соседушка, проходи! – говорила Максиха, пропуская бабушку и нас в просторную избу. – Ишь, как гусята, прильнули они к тебе, соседушка, не отстают. Старик, радость-то какая к нам привалила! Скорей выходи, приглашай малышей поиграть к себе в половинку! – звала Максиха, видимо, деда Максима, чем-то скрипевшего во второй половине дома.

– Чиих будет паренек? – указывая на меня, спросил появившийся высокий старик. Глаза его были скрыты густыми бровями. Белая борода закрывала лицо, спускаясь по грубой холщевой рубахе до пояса. Казалось, говорил и слушал он гладкой макушкой, блестящей на голове.

– Взгляни, старый, на пуговицы его шубы и догадаешься, – подвигая меня ближе к деду, ответила Максиха.

Красна* – *простое полотно, ткацкий стан.*

– Плохо вижу, бабки – и, трогая пуговицы, определил: – Кузьмы Егоровича младший. Тарасов внук, верно?

– Видно, ихней породы, раз по деревне один шастает.

– Не боишься собак-то? – улыбаясь щелкой губ в густой бороде, спрашивал дед Максим.

– Филимона боюсь, а собак нет, – прошептал я, глядя на деда.

Все засмеялись, зная повадки бойкого деда Филимона.

– Во что играть-то будем, ребятки? – спросил дед, глядя на нас.

– Шарик покатаем, – предложил я деду, доставая из чулка принесенный с собой шарик.

С трудом усадив деда на пол посредине избы, мы с Витей уселись по ее углам.

– Шарик катать будем так, – учил я игроков. – Я качу Вите, Витя деду, дедо – мне. Кто не поймает шарика, тот получает шалабан!

Шарик звенел, катаясь по полу от игрока к игроку. Дед Максим хитрил, пропуская шары. Мы отбивали щелчки по его голой макушке. Кричали и спорили.

– Ух, ты, ух, ты, что вытворяют они со стариком, – смеялись обе старушки, оставив свою работу.

Сычков Ф.В. Катание с гор

– Устал я, нога заболела, – сказал Витя, вставая. Помогли подняться на ноги и деду.

– Уморили, окаянные! – пыхтел старый Максим, внимательно глядя на стеклянный зеленый шарик.

– Видно, надувной? – задумчиво произнес он. Но отчего-то борода его вдруг вздрогнула.

– Где, малыш, нашел энтот шар? – спросил он меня.

– Папа недавно подарил. С дальнего моря привез. Грит, много их там, на войне, видел, – отвечал я деду.

– Вспомнил, старухи, признал! – выпалил дед. – Из энтих шаров возводились заграждения. В море ставились они перед бухтой, где стояли наши корабли. Охраняли от торпед японцев. Вот и послали мне весточку защитники русской крепости Порт-Артур! Воевали мы, ребятки, в первую Японскую войну насмерть, за Бога, царя и Отечество! Дивно* погибло солдат из наших краев в ту войну. Вечно остались лежать они в той земле. Вовеки им царство небесное! – перекрестившись, закончил дед.

– Ну, ну, успокойся, старый солдат, – нарушая тишину, пропела Максиха.– Ребят напугал.

– Не нукай, старая, а наложи лучше яблок вон в берестянку, отнесет гостинцев домой паренек, – строго сказал Максим.

– Приходите к нам, малыши, не бойтесь, не обидим, – говорили, провожая нас, добрые старички. – Не осталось у нас никого. Всегда рады вам будем.

С ребятами, имевшими кое-какую одежонку, мы посещали и избу-читальню, на столах которой разрешалось полистать газеты и журналы. Но больше рассматривали плакаты, висевшие на стенах. С них смотрели на нас искаженные лица фашистов, чанкайшистов и разных самураев. На сохранившихся старых агитках, сплошь обсиженных мухами, карикатуры на правителей Антанты времен гражданской войны. По слогам разбирая слова из печатных букв, складывали понятные нам выражения:

– Табак скурился,
Погон свалился,
Правитель смылся.

Дивно* – *много*

Довольные, утирая свои носы, водили пальцами по плакатам, превращая их еще в более неприглядный вид.

Избач Гришка, здоровенный матрос, недавно демобилизованный с Тихоокеанского флота, не обращал на нас внимания. Он был занят выпуском очередной стенгазеты. Рисовал и писал он фасонисто. На сей раз его стенгазета отражала оценку работы четырех колхозов Овчанковского сельсовета, которым руководил вновь избранный председатель – наш отец. Сводки о ходе работ в колхозах, доставленные в сельсовет, избач оформлял рисунками. Передовые колхозники деревни Каракулы летели на самолете, а отстающие из деревни Коточиги ехали верхом на черепахе. Закончив рисовать, Гришка бережно брал стенгазету и с довольным видом вывешивал ее на ворота ограды сельсовета.

Новость о художествах избача быстро облетала деревни. Первыми смотрели и читали стенгазету школьники, идущие по домам после занятий в начальной школе. Одни радовались, другие огорчались за работу своих односельчан.

– Кыш отсюдова, мелкота! – гнали нас парни из деревень, обиженных избачом. – Придешь ты, моряк, к нам на вечерки, отлупим! – грозили они кулаками в сторону избы-читальни.

– Молодец, Гриша! Так их, лодырей, и надо – садить на черепаху, – прыснула от смеха бойкая девчонка из деревни Струны.

– Во дает перцу мужикам новый председатель! – воскликнул тракторист, верхом на лошадке возвращаясь из МТС. – Трактора ждут, а сами к посевной не готовятся, – не унимался он, размахивая ременной плетью.

До позднего вечера будут подходить к стенгазете молодые и старые, хвалить и ругать самих же себя. А в темную ночь сорвет ее с ворот подвыпивший коточиговский бригадир Яшка, ковылявший домой от своей овчанковской зазнобы. Сорвет, но не выбросит. Хотя и замутненный бражкой, быстро сообразит, что ему не сдобровать за содеянное. И бережно вложит стенгазету в стреху ворот.

... В дни масленой недели катались с горок по снежным укатанным дорожкам, до дыр протирая единственные штанишки. Катались на лотках, санках-кованках, удобно оструганных лесинах. Вечерами на катушку выходили

взрослые парни и девчата, мужики и бабы. Одни зажигали кучи соломы и факела, другие тащили с конного двора санищи. Затем устраивали головокружительные санные спуски с горы с песнями, шутками, прибаутками.

После масленой недели наступали дни Великого поста. Посиделки и гуляния в деревне прекращались. Притихли и мы, малыши, сидели по своим теплым избам. Во время поста ткали холсты на пошив крестьянской одежды и домашнего обихода.

Мама надела на меня рубашку брата Михаила, старую, в заплатках.

– В одной рубахе из дома не сбежишь! – строгим голосом говорила она, забирая в починку мою рваную одежонку. – Помогай бабушке ткать холсты.

В избе были уже собраны красна*, по стенам развешаны мотки пряжи.

– Из этой толстой пряжи, внучек, соткем стену холста на онучи. А вон мяконькие, видишь, висят? – показывала бабушка на мотки. – Из них соткем холсты для шитья рубашек и другой одежды, а мама сошьет каждому обновки к Пасхе, – высказывала она свои сокровенные желания.

С утра и до вечера трудились мы с бабушкой. Готовые холсты расстилали по снежному насту в огороде для отбеливания.

В доме становилось все ярче и теплей от солнца, которое поднималось все выше и выше, надолго освещая окна. Пошли теплые дни, между стеклами рам появились ожившие мухи и мотыльки. За вершинами елей близкого леса показалось такое живое, такое молодое синее небо. Казалось, что несет оно в себе те весенние дни, когда забываются все ребячьи невзгоды в играх и забавах на полянах.

– Сыночек, что принесла - то тебе, посмотри, – услышал я голос мамы и увидел на лавке стопу из шерсти красного отлива. – От коров начесали, красной масти которые, бабы наши придумали: пусть ребята мячики к играм скатают. Между делом и вы с бабушкой скатайте, – просила она чем-то недовольную бабушку.

Мячик получился у нас красивый и очень прыгучий.

– Бабушка, родная, вот уж наиграемся в лапту и перекиды, да и красный мячик никогда не затеряется в зеленой травке, – тараторил я, перекатывая его в ладонях.

Едва-едва проклюнулась полянка из снежного покрова на Стешкином угоре, а на нее уже сбегалась детвора. Начинали игру в лапту разномастные дошколята, а затем, после уроков в школе, играли с нами уже почти взрослые ученики. Мячики улетали далеко за кромку тающего снега от бит почти семнадцатилетних парней, не по своей воле отставших в учебе за годы войны. Они смеялись, хвалясь своей удалью.

Нам, мелкотне, остающимся в разряде «галящих» все время, глотая слезы, приходилось подбирать мячи, бегая по талому снегу. Бегать становилось тяжелее, ноги заплетались в напитавшихся водою лаптях. Тогда мы снимали верхнюю одежду, скидывали с ног лапти и босые гоняли мячи. От влажной травы и теплого весеннего ветерка кожа босых ног покрывалась «цыпками». В азарте мы не обращали на них внимания. Но вечерами на печи «цыпки» начинали подсыхать и кровоточить.

– Бабушка, полечи «цыпки», – шептал ей на ухо, изнывая от боли.

– Варнак этакий, опять бегал босиком! – сокрушалась бабушка. Но, сжалившись, спускалась с печи и подавала мне кринку с остатками сметаны.

– Помажь ноги и спи.

От растирания «цыпок» сметаной боль отступала. К утру «цыпки» смягчались, затягивались.

– Бабушка, спасибо тебе! Вишь, «цыпок» как не бывало? – ластился я к ней, думая, как снова убежать на угор.

Вскрылись весенние ручьи, талая чистая вода все прибывала в речке, текущей вдоль нашей улицы. Прошедшие дожди «съели» сугробы снега в низинах огородов, тронулись потоки воды, очищая лужки поскотины. Речка вздулась и, выйдя из берегов, унесла в своем бурлящем месиве и зимние санные дороги, и мусор. День ото дня зеленели лужайки. Мужики поправили изгороди и выпустили на волю лошадей из конного двора.

Взрослые рабочие кони спокойно пощипывали зелень и остатки прошлогодней травы. Однолетки, резвясь, знакомились друг с другом, слегка покусывая крупы. Маленькие жеребята, вытянув пушистые хвосты, кружили около матерей, их мордочки беспрестанно тянулись к вымени, не поймав его, они смешно чмокали губами. Ребята, усаживаясь на жердях изгороди, наблюдали за начинающейся летней жизнью лошадиного племени, ждали, пока оно успокоится. Затем подзывали своих любимцев по кличкам, угощали хлебными корочками.

– Сивко, Сивушко, ты мой! – подражая ребятам, голосил я, подбираясь к старому мерину, мирно пасущемуся на берегу речки.

Сивко, приняв угощение, снова наклонил голову и, не обращая на меня внимание, стриг и стриг губами подрастающую травку.

– Сивушко, прокати, пожалуйста, – просил я, поглаживая его гриву.

Конь доверчиво шевельнул одним ухом, потянулся ко мне, прося еще корочку.

– На, съешь, Сивушко, но только прокати!

Ощутив на ладони прикосновение теплых мягких губ коня, я понял, что добился его согласия. Окрыленный, я смело вскарабкался по гриве на его круп. Сидеть верхом на коне было страшновато, но под общее одобрение ребят догадливый Сивко мелкой рысью покружил меня по поляне.

... Прихорашивались и садочки. Растущие в них рябины, черемухи, яблоньки одевались в зеленые наряды из еще липких листочков.

Установились и проезжие дороги после весенней распутицы. Ожила трактовая дорога, идущая в сторону железнодорожных путей, по которой все чаще двигались обозы, перевозящие семена и товары. Запел свои трескучие песни Витин дедушка, Филимон-Дрозда, обхаживая нагрянувших ямщиков.

– Тетя Мария вчерась говорила, что трактора завтра пригонят из МТС, – рассказывал нам Витя.

Мария, дочь Филимона, семнадцатилетней девчонкой стала трактористкой в первый год войны, пахала и сеяла на колесном тракторе СТЗ на полях колхоза. Крутого нрава

незамужняя женщина носила мужскую одежду, верховодила в деревне.

Колесные трактора, идущие гуськом, мы встречали за околицей деревни, настежь открывая полевые ворота крайней улицы. Передний трактор вела Мария Филимонова, восседая на его железной беседке. Рядом, на крыле сидел Афонасий Васильевич, бригадир тракторного отряда колхоза. Следующими за ними тракторами управляли хорошо нам знакомые мужики Трофим Васильевич и Петр струновский. Замыкал колонну трактор Яшки Петихина. Черное от мазута его лицо, как всегда, украшала широкая улыбка. В деревне он имел славу чудаковатого, забракованного к службе в армии парня – перестарка. Клубы дыма от ревущих труб застилали глаза, но мы не отставали от тракторов, бежали и кричали, как герои из немого кино. Около кузницы трактора остановились, и враз заглохли их моторы. В наступившей тишине стали ясно слышны голоса встречающих и топот копыт испуганных лошадей.

До позднего вечера председатель и бригадиры колхоза, трактористы МТС осматривали прицепную технику, отремонтированную мастерами кузницы. Прикидывали объемы весенних работ, которые в состоянии выполнить тракторный отряд на вспашке и обработке полей, посеве зерновых культур. Сил тракторного отряда далеко не хватало, поэтому тут же бригадиры включали в свои планы все резервы конной тяги и ручного посева, определяли нормы выработки на конный плуг, борону и сеялку.

Кладовщик продуктового склада требовал пополнения запаса муки, зерна для крупы, забоя скота на мясо. Все продукты ему необходимо было представить к утру Устинье – поварихе тракторного отряда. Спрос за питание трактористов МТС был строг.

В сумерках мы возвращались с отцом домой. Председательские заботы передавались мне по изредка вздрагивающей руке, обнимающей мое плечо.

– Миша вспашет огороды колхоза сохой, Геннадий не подведет на бороньбе в поле. Старших учеников школы попрошу освободить от занятий на неделю, одних поставим

на вспашку конными плугами, других – на бороньбу зерновых, закипит работа, – вслух планировал папа. – А чем же, сынок, занять тебя? – встряхнув посильнее плечо, спросил он.

– Как чем? Да мы с Витькой все придумали! – выпалил я. – Проснемся и побежим наперво к Устинье. Дров ей натаскаем. Угостит она нас за подмогу кашей с мясом, набьем пузо, а затем в поле. Оброненные у сеялок зерна подбирать, понял, папа?

– Понять-то понял. А без Устиньи обойтись нельзя? – посмеиваясь, спросил он.

– Нет, нельзя. В поле есть захочется, – твердо ответил я. – Папа, а назавтра мы договорились посмотреть, как трактора заводят.

– Хорошо, сходите. С одним условием: к тракторам близко не подходить!

– Ясное дело, в сторонке будем смотреть, – пообещал я.

– Ну, чего ты, Кузьма, таскаешь его за собой? – встречала нас дома мама. – Все уже спят давно, – ворчала она.

Я еле растолкал спящего на полатях Гену и тихонько шепнул ему:

– Ты разбуди меня, когда в школу пойдешь, ладно?

– Что приспичило-то? Зачем тебе рано вставать?

– Увидеть, как трактора заводятся.

– Ладно, давай спать, завтра вместе и сходим, – зевая, заверил он.

Утром, наскоро похлебав теплой простокваши, поданной бабушкой, сунув по куску хлеба за пазуху, мы с Геннадием побежали к кузнице. Трактористы чистили и смазывали свои машины, бригадир Афоня зорко наблюдал за их работой.

– Так, Марья, порядок у тебя! – хвалил он Витькину тетку, осматривая ее трактор.

– А у тебя, мазила, опять магнето начисто не обтерто, – рявкнул бригадир прямо в сияющее улыбкой лицо Яшки.

Яшка растерялся, оборачиваясь в сторону все прибывающей толпы деревенских зевак, зажатой в руке тряпицей чаще вытирал вспотевшую шею, чем детали на тракторе. В толпе раздавались едкие шуточки в адрес Яши.

– Постыдитесь, зубоскалы! – двинулся на зевак Афоня.

В 1930 г. Сталинградский тракторный завод запустил в производство новую марку трактора СХТЗ 15/30. В 1931 году производство перешло на тракторный завод в Харькове. Трактор был предназначен для вспашки и обработки почвы двухкорпусным и трехкорпусными плугами.

– Марья, к рукояти становись! Петро, Яшка, помочь ей веревкой! – скомандовал бригадир, одною рукой обхватив магнето, взмахнув другою, подавал команду – крути!

Марья, изогнув свое сильное тело, ловко повернула рукоять заводки. Вздрогнула веревка в руках трактористов, от сильного рывка «отдачи» рукоятки, и удержала ее в руке Марьи.

– Давай, крутнись еще, окаянная! – выдохнула Марья, завершая второй оборот рукоятки. Как будто в ответ ей вздохнула труба трактора, выпуская облачко белого дыма, затем стрельнула клубом черного и зарокотала.

От резкого гула снялась стая голубей и галок, ворковавших на крыше кузницы, и галдя, закружила.

– Ма - ма! – взвыла Лидка, моя сверстница, одурев от страха.

Всхрапнули лошади, отпрянув от кормушек в поскотине, и понеслись в спасительную чащу леса.

В слезах улепетывала в сторону деревни и вся малышня.

– Во дают трактористы! – изумился Геннадий.

– Здорово их учили в МТС! – сказал Коля Васюхин.

– Не зря будут есть казенную кашу! – добавил Федя.

А трактора, мерно стуча моторами, уходили на поля прокладывать первые весенние борозды. Вслед за ними с плугами направлялись пароконные упряжки, которыми управляли вдовы и невесты не вернувшихся с войны мужиков. За вальками конных борон с перевернутыми вверх зубьями шли подростки – парни и девушки, еще не успевшие сбежать из колхоза в города.

Более двух недель с полей доносился гул работающей техники. Прямые участки засевали тракторными сеялками, а их отроги – конными и вручную. Работали люди не покладая рук, отдыхали в перерывах на кормление лошадей и заправку тракторов.

... Люди и кони серели от пота, затем темнели от пыли и жгучего весеннего солнца, ноги едва волочили, с каждым шагом утопая в рыхлую землю.

– Потерпи, родная, – шептал бригадир, заменяя обессилевшую девчушку, еле идущую за бороной.

– Спасибо, дядя Ваня, – благодарили ее обветренные губы, – отдохну за круг.

Я уже не боялся Вальса, рослого племенного жеребца, запряженного в ломовую телегу, на которой отец, бросив председательские дела, сутками возил на посев мешки с семенами.

– Вальс, миленький, поешь, – говорил я, протягивая к его шершавым губам пучок свежей травы.

Уставший Вальс не ржал, не косил глаза на стоящих рядом в упряжках своих подруг. Вальс как бы знал, что не время «дурить», наступят и для него дни отдыха – вольные, на просторах лугов и поскотин.

Всего один вечер, не умолкая, играл патефон во дворе Афони, созывая колхозников на гуляние по случаю завершения посевных работ. Немногие собрались отмечать обсевки, а плясать кадриль не захотели даже ярые молодушки. Наутро всех ждала куда более тяжкая работа на личных огородах. Люди знали цену своей засеянной полосы и вовремя посаженной постати картофеля, собранный урожай с которых обеспечивал семью едой на весь год. Натуральная оплата труда колхозника, выдаваемая зерном и мукой, не закрывала

и на треть потребности семьи. О денежной оплате за прошедший первый послевоенный год и речи не велось. Поэтому жители деревни старались обработать для посадки каждый свободный от построек уголок своего огорода. Все работы велись вручную, с помощью лопат, граблей, деревянных борон. Выделять лошадей и инвентарь колхоза на обработку огородов бригадирам строго запрещалось.

– Кузьма, пожалей ты нас с ребятами, возьми лошадь и вспаши сохой огород! – умоляла отца бабушка. – Ведь на сносях Нюра, невмоготу ей работать в огороде да на ферме!

Отец, без слов понимавший бабушку, не мог выполнить ее просьбы. За срыв работ в колхозе он отвечал головой. Ежедневная нехватка конной тяги ставила в тупик бригадиров и председателя. А единственный телефон, висевший на стене в конторе, не переставая, трещал по утрам, требуя конные подводы на ремонт дорог, подвоз товаров в магазин и другие гужевые повинности, доводимые до колхоза.

Бабушка сердилась на зятя, не представляя его забот. Срывала гнев на нас, внуках.

– Шевелитесь, «коммунисты» окаянные! – подгоняла старших братьев, на миг опустивших лопаты.

– А ты, варнак, чего комья оставляешь? – теребила она меня. Затем, подхватив из рук черенок граблей, разбивала комья земли, причитая: – Вот так надо, лентяй ты эдакий!

В уповод мы управились с подготовкой полосы под посев пшеницы. Еще при свете солнышка засеял ее отец, придя пораньше с работы. Так просила его бабушка.

– Грех сеять без солнышка! – говорила она.

До густых сумерек заборанивали зерна пшеницы отец и братья, на веревке волоча борону. Без дела не сидел и я, разгоняя ворон, грачей и галок, которые беспрестанно кружились над полосой, стараясь поклевать зерна на ней.

... В вечернюю пору отчетливее доносились голоса людей, работающих на соседних усадьбах.

– Ох, господи, дай нам силушки! – вздыхали женщины в огороде Фединой бабушки, хлебная постать которой занимала часть крутого склона угора.

Две женщины, старенькая мать и дочь Катя, приехавшая из города на помощь в посадке, тоже боронили. Тяжко им было выносить на руках борону в гору по дорожке, протоптанной с краю постати. Не легче было и тащить вниз по склону, разрыхляя ее зубьями глинистую почву. Часто отдыхали они, опускаясь на траву, снова вставали и шли.... Шли, чтобы выжить и не оставить без куска хлеба семью второй дочери Нюры с тремя ребятами, оставшимися без отца.

Всплеснувшись, угасла заря над вершинами тополей, окружающих избу-читальню. Одинокий, грустный девичий голос возвестил о начале вечерок.

– Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?

Напев подхватила гармонь Гришки-избача, и грянула переполненная радостью песня:

– Ой, ты, мама моя, ой, ты, мама моя!
Отпусти ты меня погулять.
Ночью звезды горят, ночью ласки дарят,
Ночью все о любви говорят.

– Распелись, нехристи! – ворчала и тузила нас бабушка, укладывая спать.

– Времечко пришло и девкам попеть и поплясать, – ответила ей мама, постукивая посудой. – Что им и слезы утереть нельзя? Вон как разневестились у Тимихи дочери Таня с Надей, загляденье одно! Вчера Витька Афонин в отпуск пришел, на летчика учится. У Николы Ваньчик со службы насовсем вернулся, говорят, вся грудь в медалях, – не унималась мама.

На ее похвалу в открытые створки окна полилась страстная девичья песня:

– Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет,
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.

Не утерпел наш Мишка, шестнадцатилетний паренек, и выпрыгнул из-за стола сквозь открытые створки окна... навстречу песне.

Начались летние, очаровательные дни. Пошли теплые, но скоро проходящие дожди. По утрам я не узнавал деревню. Ветхие тесовые крыши изб и построек скрылись в зеленых кронах рябин и черемух, провалы пошатнувшихся оров закрыли поросли малинника. Ровнее стала дорога по нашему концу деревни. Стадо скота, ежедневно гоняемое на пастбище, разровняло острыми копытами колеи и рытвины на ней. Вместо них появились намытые дождевой водой мягкие песочные дорожки, приятно ласкающие босые ноги.

В зарослях сорных трав, буйно растущих по обочинам дороги, копошились выводки домашней птицы. Мирно паслись на воле стайки гусей, кур и уток. Крошечных птенцов, одинаково одетых в желтый пушок, охранял «вожак» стаи: сердитый гусь, крикливый петух или блудливый селезень. Ни один взмах крыла пролетающего ястреба или шорох лап крадущейся в траве кошки не оставался не услышанным, незамеченным.

Однажды, загоняя выводки в ограду, я допустил оплошность – взял в руки ослабевшего гусенка. Гусь-вожак вскипел, как самовар, вмиг уцепил подол моей рубахи, затем крепко ухватил за ворот. Не опуская гибкой шеи, крыльями стал больно обхаживать меня по бокам.

– Бабушка, родная, ... отними! – вскричал я.

Впервые видела бабушка такие чудеса:

– Ох, господи, с гусем драться полез! Глаза береги, пястями* закрывай! – испугалась она, не зная, как и разнять-то нас.

Гусь, увидев бабушку, сам отпустил меня.

– Га, га,...га...! – испустил он победный клич, отбегая к не менее встревоженной гусыне с гусятами.

– За что же надрал тебя гусь? – спрашивала бабушка, осматривая мое лицо.

– Ни за что! Разве за подмогу слабому гусенку наказывают? Вот недавно воробьиха долго хвалила, чирикая с крыши ворот, за то, что я подсадил к ней воробушка, выпавшего из гнезда. А наш гусь – дурак, сразу – в драку!

– Не кручинься, – улыбнулась бабушка, прижала к себе, погладив по головке, отпустила: – Ладно уж, бегай!

Пясть* – *кисть руки, ладонь.*

Не прошло и часа, как я попал в более серьезную переделку. Встречая корову, теленка и другую мелочь, я поджидал стадо, идущее с пастбища. Пастухи всегда гнали его плотным гуртом. Корова, хорошо знавшая свое подворье, самостоятельно подошла к открытой калитке загона и остановилась.

– Му-у-у, – замычала она, призывая своего несмышленого теленка.

Стайка овец, блея, забежала в калитку. Теленок их примеру не последовал. Пришлось вицей выгнать его из стада и огреть вдоль хребта.

– Знай наперед, куда заходить. – учил я теленка, взбрыкнувшего мимо коровы в загон. – А ты чего ждешь? – хотел, грозя вицей, припугнуть и ее.

Корова, видимо, не стерпев обиды за теленка и за себя, мотнула головой, крутым рогом подхватила под зад и бросила к ногам оторопевшего пастуха.

– Живой? – спросил он, поднимая меня.

Я молчал. Он быстро оголил рубашку и осмотрел меня.

– До свадьбы заживет! – сказал пастух, шлепнув ладонью по заду. – Небольно, по холкам-то? – снова спросил он.

– Нисколько, дядя Василий! – ответил я.

На шум вышла бабушка.

– Что, Василий, в стадо лез? – спросила она, увидев меня в руках пастуха.

– Да, было дело, Маремьяна, уж больно шустер малец растет! Набьет шишек, малость поумнеет, – добавил Василий, передавая меня бабушке, и затрусил, догоняя стадо.

– О каких шишках пророчил Василий?

– Какие, какие, вот такие! – показал я бабушке холки, задрав рубаху.

– О господи, да убирась ты скорее в избу.

А они с мамой уже накрывали вечерний стол. Ужинали молча, не торопясь, хлебая молоко с накрошенным хлебом.

– Нюра, собери-ко мне поутру ребят. Увезу их по пути в Макаровичи, – нарушил тишину за столом отец, обращаясь к матери. – Дементий давно просил меня птичник посмотреть, ладно ли мужики строят? А ребят оставлю там дня на два, пусть порыбачат.

– Ура, папа! – заорал Гена, выскочив из-за стола.

– И Витьку тоже возьмем? – спросил он у отца.

– Да, при условии, что он штанишки оденет, – улыбаясь, посмотрел он на меня.

Можно, я на козлах поеду, вожжами править Вальса буду? – просил я Гену, увидев отца, остановившего у дома выездной коробок*.

– Молчи, а то так поправлю, что спадут с тебя новые штанишки! – ответил Гена.

– Ну, готовы сынки? – глянул на нас отец, заходя в избу.

– Мама все собрала: вот котомка с хлебом и туесок браги на гостинцы, – показал я отцу, опережая брата.

– Попей, Кузьма, – сказала мама, подавая отцу ковш с сытной теплухой*, его обычный завтрак по утрам. – Хлеб-то сразу передай Феклинье, знаю, суррогатным куском угощать вас не будет, а к нашему хлебу припасов много у ней найдется.

– Бабушка, жди, папа рыбы тебе привезет, к вечеру на уху мы наловим, – перебивая наказы мамы, прощался я с загрустившей бабушкой.

– Кузьма, по деревне-то ребят не катай, прямо через Каравашек езжайте.

Застоявшийся Вальс резвой рысью подхватил коробок, гордо держа голову на красиво изогнутой шее. Мягко катились колеса дрожек по влажной после прошедшего ливня чуть заметной извилистой дороге. Пересчитывали бревнышки мостиков и настилов, уложенных на топкие места. Перевалив Каравашек, заросший мелким ельником, минули долгий мост и выехали на полевую наезженную дорогу.

– Витя, видишь дома? – повернувшись на козлах, указал Геннадий на дома, оставшиеся сбоку от дороги. – Это деревню Коточиги объехали, – объяснил он мне.

– Не обманывает он, папа? – спросил я у отца.

– Нет, сынок, запомни ее первой, а сколько ты еще в жизни увидишь деревень, сел и городов, счет потеряешь, – пояснил отец.

– Скоро приедем, и увижу починок Макаровичи. Это будет вторая деревня, понял, Гено? – выпалил я.

Коробок* – *возок с плетеным кузовом*, **теплуха*** – *теплая брага.*

– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь! До починка-то десять верст киселя хлебать, а он уже подсчетом занялся! – возмутился Геннадий.

– Папа, папа, вон, вон стройка показалась!

– Амбар колхоза это, в поле поставили, Витя, для хранения зерна.

– А за амбаром, видите? Корова с теленком бежит! – указывая вдаль поля, закричал я.

– И верно. Лосиха, видно, совсем недавно отелилась. Гляди, остановилась, лосенка ждет, а тот припадает, еле на ногах стоит, – присмотревшись, сказал отец. – Дементия предупредить надо, а то забьют тут в глуши мужики.

От амбара дорога спускалась по длинному, ровному склону, в конце которого за высокими тополями стояли избы починка. Вальс, навострив уши, встрепенулся, почуяв жилье, и так натянул вожжи в руках Геннадия, что его тощий зад задрался над козлами. От натуги Гена крякнул, но не смог сдержать жеребца. Вальс заржал и понес. Отец ловко перехватил вожжи из рук брата, пытаясь осадить его.

– Не дури, милай!

Но от быстро приближающегося к нам починка донеслось до Вальса ответное, призывное ржание.... Он, одурманенный зовом, не слушал уже вожжей, струной натянутых в руках отца. Так и влетел в улицу, разгоняя дворовых псов, пока оглоблями своей упряжки не уперся в ворота знакомой ему кряжистой пятистенки.

– Слава Богу, живые остались! – напевно заголосила тетя Феклинья, выбегая из малой калитки в воротах. Я узнал ее по голосу, не раз слышанному у нас в доме. Она без слов подхватила меня на руки, оторвала от отца и бережно опустила на приступку ворот.

– Ваня, принимай гостя! – также напевно позвала мальчика, стоящего у крыльца.

Он молчал, крутил в ладонях подол цветастой рубахи, стараясь опустить его до пят. Обыкновенный малец, белобрысый, моего роста, но худой, как Гена.

«Должно быть, сильный», – подумал я.

– Кузьма Егорович, привяжете жеребца-то, так в избу зайдите! Время-то к обеду подходит, я мигом мужиков покличу и паужну* вам соберу, – пропела Феклинья, торопясь, видно, на птичник.

– А что же ты, Витя, у ворот стоишь? – спросил отец, заходя в ограду.

– Пока осматриваюсь, папа, – поймав его руку, ответил я. – Вишь, кругом чурья* стоят? Над ними пчел полно летает и в дырки лезут, что там? – спросил я у отца.

– В них пчелиные семьи живут. Слышишь, как пчелы гудят, не отдыхая, работают? К дупленкам близко не подходи и руками не размахивай, зазря тревожить пчел нельзя! – заранее предупредил отец, зная мое порой излишнее любопытство.

– Улетают пчелы в поля и леса, ищут цветущие растения, собирают на их цветах мед и несут домой, – рассказал отец.

С приходом хозяев начались возбужденные разговоры о делах в колхозе, трудностях жизни в починке и мелких ссорах между жителями. Напевным голосом Феклинья, собиравшая на стол скромную еду, сообщала новости, которые, она считала, будут интересны для председателя.

– Егор-то опять утаил с десяток овец от переписи в сельсовете! – говорила она, обращаясь к отцу.

– Да Бог с ним! – отвечал ей отец, угощая Дементия ядреной бражкой и, видимо, зная, что у хозяев дома ходит по колхозным лугам десятка три неучтенных гусей.

– Если всю живность обложат налогом, чем детей кормить-то собираетесь? Подумай, Феклинья! Второй год идет после войны, а жизнь-то лучшую настроить не можем! В чем ребята провинились, чтобы отнимать у них последнее? – тихо говорил отец.

– Дык, и мы за правду, Кузьма Егорович! – пропела Феклинья, успокоенная словами отца.

А увидев караваи хлеба, которые бережно выкладывал он на стол, аж прослезилась:

– Доколь Нюра баловать нас будет, у самой ребят полон дом!

Паужна* – *еда между обедом и ужином, полдник,*
чурья* (от чурки) – *улей, выдолбленный из ствола дерева.*

– Пусть поедят, сытые и рыбы наловят! – ответил отец, поглядывая на Сергея и Ваню. – Мои -то, Феклинья, ночевать еще просятся!

– Так оставь, пусть ночуют, места хватит!

... Вкусный дух от разлитой по чашкам ухи, сдобренный ароматом рядом цветущей смородины и багулы, дурманил мою голову.

– Пореже мечи! – толкая в бок, шепнул мне Геннадий.

– Настоящая уха, уж больно вкусна! – посмотрев на Феклинью, сказал отец. – Спасибо за усердие, хозяйка!

– Да, что скажешь – славная уха, Феклинья! – похвалил жену и Дементий.

– А помнишь, Кузьма, какая была уха на берегу Ильмень-озера? – повернувшись к отцу, добавил он. – Царская была ушица! Из гольного жереха в котлах варилась, ребятки, уха! – вздыхая, продолжал рассказывать Дементий. – Немец был далеко не дурак! Как захочется ему жирного поесть, так закричит: «Иван, давай рыбу ловить!». Мы уж знали его повадки, ждем. Одна за другой рвутся мины на озере, поднимая немалые волны. Успокоится озеро, опять крикнет немец: «Иван, пора рыбу собрать! Вы не стреляй, мы не стреляй!». Уговор держали строго! Унесем крупного жереха, а мелочью днями чайки кормятся.

– Не забыть, Дементий, те долгие месяцы обороны, зарывшись в землю, – вторил с грустью отец.

– А скольких земляков потеряли мы в наступлении, когда все же погнали немца от озера? – продолжал Дементий Осипович. – Семен каракульский на руках у нас умирал, ведь кричал я: «Ложись!», не успел он, обе ноги враз осколками срезало. Павел да Максим епишинские в том прорыве были убиты.

– На днях заезжал в деревню-то Епишино, в слезах жены их, почернели от горя, с малыми да старыми на руках, – говорил, передыхая, отец. – На траве, говорят, живем, может, мучки какой авансом дашь, председатель? До свежего хлеба дожить! Составил ведомость на выдачу аванса Пашка-счетовод, включил в нее все семьи вдов погибших на войне и дает мне в руки. А в ней одни строчки из имен да фамилий.

– Где же количество, уважаемый Павел Ипатович?

– Не знаю, сам поставишь, на то и председатель!

– Ладно, прихвостень, – не сдержался отец, – чего не найду в колхозных амбарах, у соседей займу, но вдовам выдам аванс!

– Мимо вашего хлебного амбара ехал, в нем что-то наскребем, Дементий Осипович? – спросил отец.

– Да, пуд-два наметем, Кузьма Егорович! – ответил по-солдатски Дементий.

– Вот и хорошо!

– Да, еще побереги лосиху с лосенком, около амбара прижилась, не дай Бог, охочий мужик загубит. Донесут, лишимся опять колхозника, как в прошлом году Клима.

– Досмотрю, Егоровы ребята верхами посторожат за ней.

Тихо сидели мы, облокотившись на шершавые доски наспех сбитого стола, слушая старших.

– Да, что же это я про жареху-то совсем забыла, – встрепенулась Феклинья, направляясь к печке.

– Не беспокойся, Феклинья, оставь ее ребятам на утро, – попросил отец, вставая. – Ну, Дементий Осипович, спасибо вам! А мне пора ехать, по дороге на хлеба еще завернуть, посмотреть самому, что к осени вырастет.

– Сейчас, я мигом, Нюре рыбу-то выслать надо! – заохала Феклинья и, захватив со стола опустевший туес, затрусила к холодному ключу.

– Геннадий, дозорь за малым, погостите, а завтра домой, – сказал отец, направляясь к воротам.

Услышав голоса, забил копытами застоявшийся Вальс, танцуя в упряжке.

– Передайте, Кузьма, и от нас гостинцы, – прослезилась Феклинья, опуская в коробок туес с котомкой. – Рыба-то с холоду, не замрет в дороге, смахивая слезинки, говорила она.

Крупной рысью взял с места Вальс, подхватил, как перышко, коробок, унося в поля председателя. Загрустил я, проводив отца. Впервые остался в чужом селении, без пригляда бабушки и мамы.

– Дементий, ребята! Гусей загоняйте, своих и колхозных! – кричала Феклинья, размахивая руками. – Цыгане едут!

Сергей и Геннадий, бросив чинить недотку*, стриганули на луга, к гусям.

– Наперво Егора бегу предупредить, жеребят и коней запереть! – хлопнув калиткой, убежал Дементий. – Фекла, затем верхом починок объеду, все досмотрю! – крикнул он, удаляясь к поскотине.

– Ваня, на залом замкните двери, никого не пускайте! – сказала Феклинья, заманивая в загон домашнюю живность: гусят, цыплят и ягнят.

Мы, оседлав стреху ворот, смотрели на приближающиеся к починку повозки цыган. Мерно качались на ухабах обдуваемые ветерком их крытые верхи. Лаем лохматых собак встретил цыган малолюдный починок. Четверо верховых, во главе с Дементием, спешились около передней повозки, преграждая ей путь. Поднялся над козлами старший цыган, протянув руки к Дементию, рявкнул:

– Здоров будешь, хозяин! Не забыл Будулая?

– Здоров, здоров, Будулай! Как забудешь старого плута? – гаркнул в ответ Дементий, приближаясь к цыгану. – Уговор таков! Семейство на ночь обустроишь на прежней поляне, за рекой. Топляка там полно на костры. Приструнь гадалок! В нужде на починке живем, хлеба ноне нет. На приправу к вареву наши без гадания подадут! Коней пасти на лугах, травы не жалеем. А поутру, Будулай, счастливой дороги! Не то в сельсовет заявлю! – пригрозил Дементий.

– Добре, хозяин! Принят уговор! Все слышали? – крикнул Будулай, окинув взглядом притихших цыган. – А теперь на поляну!

По паре коней тянули повозки со скарбом цыган. Сверкали глаза цыганят сквозь щели рваной кошмы.

– Одна, две, пять кибиток проехало, Ваня! А цыган в них и не сочтешь!

Угомонился лай дворняжек, проводивших повозки с еще невиданным мною народом вдали от починка.

– Ну, скоро жди проклятых! – выговорил Иван, покидая укрытие. – Слазь и ты, караулить дом пора, – продолжал он, давая мне наставления. – У ворот стоять будем. Мама в ограде без нас досмотрит. Мужички да ребята коней-то уж устерегут, у них ружья с зарядами.

– Как бухнут из ружей, так все цыгане прочь разбежатся, понял? – нагонял страх маленький бесштанный Ваня. – Слышь, загудели, видно, на ночь почивать собрались, костры запалили. Глянь, прут уж к починку.

По низине, озираясь на строения, разбросанные вдоль ручья, торопливо крались с десяток цыганок и цыганят. В алом свете вечерней зари, сверкая украшениями, они ловко одолевали изгороди усадеб и исчезали в них.

– Вишь, Ваня, как цыганки обескуражили собак-то и нас за нос провели? Мы ворота сторожим, а они уж по огородам шарят! Поди скорее к матери, без догляда что-нибудь упрут воровки.

– Я им сворую! – встрепенулся Ваня и, щелкнув запором ворот, бросился вглубь двора. – Мама, мама! Вон плутовки на грядках, видно, лук рвут!

– Ох, как же вы, детоньки, так оплошали, пропустили-то их, окаянных, – причитала Феклинья, убегая к цыганкам.

– Гони их, мама, – кричал Иван, намереваясь бежать ей вслед, но я ухватил его за руку.

– Слышь, куры закудахтали? Там кто-то ходит, – прошептал я, указывая в темноту двора.

– Идем, глянем!

– Там цыганка уж в шаль курицу завертывает!

Не сговариваясь, как волчата, набросились мы на цыганку, вцепившись в ее шаль руками и зубами, пытались освободить курицу. Молча, ухватив нас за уши, цыганка направилась к воротам и вынесла обоих на улицу. Остановившись, крепко встряхнула, но не отпустила своих цепких рук от наших ушей.

– Я це, милай, все ухо с мясом выдеру! – прошипела цыганка над моей головой. – Навек безухим оставлю, понял?

– Сюда, ребята, спасай нас! – заорал Ваня, услышав угрозы цыганки.

На крики прибежали Сережа и Гена. Опустились руки у цыганки.

– Я, касатики, как березка чистая, мимо шла. А эти шкеты, любезные, как набросятся, чисто ястребы неразумные, – заюлила цыганка перед братьями.

– Что она, ведьма, брешет! Ястребов приплела! А сама курицу с седел словила и в шаль замотала! Вон смотрите, в шали шевелится!

И мы снова вцепились в шаль, захлестнутую на груди цыганки, мигом сдернули с нее. Из шали на глазах у братьев вывалилась очумевшая курица и, встрепенувшись, кинулась в открытую ограду.

– Вот те чудеса! – пропел Сережа.

Вскрылилась от обиды цыганка и, изловчившись, снова сцапала мое ухо.

– Да чтоб, змееныш, к утру к тебе «кила» пристала! – зыкнула она напоследок, убегая от натиска старших братьев.

Остынув, я вспомнил последние слова, сказанные цыганкой. Закружились в голове наставления бабушки о ведьмах, о безбожных цыганках, их наговорах и заклинаниях, спасение от которых только крестом и молитвой.

Ночью, часто просыпаясь, тайком на чужих полатях смотрел на свои руки, ноги, ощупывал их, не вырастает ли чего лишнего. А утром, задрав рубаху, показал Ване, что ничего и нет. Улыбаясь, еще раз осенил себя троекратным «крещением» и забыл о сглазе обидчицы.

Весь день мы лазали по берегам реки, я познавал все новые всевозможные способы ловли рыбы, доступные нашему возрасту.

Я задумал удрать из дома, подождать отца у дальних ворот деревни и уехать с ним по бригадам.

Но отец, не доезжая ворот, повернул Вальса и остановил коробок на бережке лога, уходящего от деревни в низину. К моему горю, был он не один. Два мужика, что-то указывая ему, вылезали из тесного коробка.

– Смотрите, вот тут самое место, Кузьма Егорович, поставить сушилку, – говорил сухонький, бойкий старичок. – Печь опустим книзу в землю, поверху проложим тепловые каналы, над ними выложим пол из кирпича, обошьем его листовым железом, и не ленись, суши зерно.

– Время дорого. У деда в хозяйстве пристрою я строителей, Кузьма, – сказал один из мужиков, оказавшийся нашим бригадиром Иваном Денисовичем. – У него и подкрыша большая, места много месить глину, готовить кирпич, да и жить будут рядом, в пустующей зимовке.

– Добро. А завтра, на правлении колхоза, договоримся и о цене, – обратился отец к бойкому старичку, пожав ему руку. – Иван, досмотри за покосом в бригаде, поднажать надо в ведро, не упустить время. Я по деревням проеду, что-то отстают с меткой сена в них, может, чем и помочь треба, – попрощался отец с мужиками, направляясь к коробку.

– Как ты здесь оказался? – спросил отец, улыбаясь.

– Да ить дома сидеть неохота. Гену бригадир наряжает копны возить, Михаила на граблях сено грести. Меня не берет, говорит – мал еще. Дак я и надумал с тобой по бригадам ехать. Не оставь, возьми меня. Хоть за Вальсом досмотрю.

– Хитер варнак! – сверкнул глазами отец. – Так допоздна проездим, мать потеряет, ругать нас будет.

– Не впервой, стерпим! – почуял я согласие отца, усаживаясь на козлы коробка.

Мигом, ухватив вожжи, пустил Вальса по пыльной дороге, уходящей от ворот по полю цветущей ржи. Клонил ветерок ее высокие стебли, волнами ходили колосья, радуясь теплу и солнцу.

– По Микитину угору катим, сынок. Хороша ноне рожь на нем уродилась, с хлебом будем! А вот и Микитина елка, –

показал отец на ель, раскинувшую густые ветви у обочины полевой дороги. – До нее, родимой, провожали солдат на фронт, оплакивая всей деревней. Присмотрись, сынок! Не зазря пропадали людские слезы ..., проросли они свежим ельником, окружили ель, как мать, вдову родную.

– Здравствуйте, девушки! – приветствовал отец, остановив Вальса возле работающих старушек, баб и девчушек. – Бог вам в помощь!

– Здра... сте, председатель! – донеслись голоса женщин, ловко сгребающих в копны подсохшую траву.

– Бог-то богом, а вот пару справных мужиков подбросить к нам не мешало бы, Кузьма! Глянь на стог-то, еле растет! Видишь, старый да малый в уповод стога поставить не в силах, – обращаясь к отцу, говорила уставшая женщина, приглядевшись к которой, я узнал знакомую мамы, бойкую на язык Лукерью из деревни Лисково.

– Рад бы помочь, бабоньки. Дак, с неба мужики не валятся! – оправдывался отец.

– Нечего их с неба ждать! Взгрей трактористов! Вон, у трактора за деревней лежат уже более недели, брагу жрут. Мой Евлампий да молодчик Васька. Запчасти, грит, из эмтэеса им не везут, а сами рады дрыхнуть, попивая, – не унималась Лукерья.

– Так запрещено отвлекать их с ремонта, – возразил ей отец.

– Не бойся! А кто по осени колхозное сено для лошадок в МТС задарма повезет? Опять же мы, колхозники! Бабоньки! Богом просим председателя сейчас же поставить трактористов на метку стогов. А мы уж, Кузьма Егорович, рук не пожалеем, сгребем и свозим с ребятками все копны, подберем до вечера всю траву на лугу.

– Возьми вот помощника, – улыбнулся он мне, передавая в руки Лукерьи. – А я мигом привезу еще двух!

– Чего умеешь делать-то, маменькин сын? – ласково спросила она, погладив меня по вихрам.

– Как сметаной обмазаны, белым-белы, – смеялись девчушки, окружив нас с Лукерьей.

– Тетенька, а можно верхом на лошадке копны повозить? – попросил я.

– Да с радостью! – ответила Лукерья и, оглядевшись, повела меня к свободной от седока лошади, запряженной в подкопельники.

Ласково понукая смиренную Муфту, возил я копны, объезжал неровности луга, не растрясая ни одной.

А отец с Лукерьей журили трактористов, вручая им длинные деревянные вилы – трехрожки.

– Разомнись, Евлампий! Не ленись, Васька. Хватай на вилы всю копну, поубавь пузо, – лился голос Лукерьи у стога, разносясь по всему лугу.

Закипела метка сена. Высился стог. Прибавили ходу и возчики: рысью пуская лошадей с копнами, оставляли сено у стога и вскачь гнали обратно. Затихли звонкие голоса девчат. Не до шуток им стало, бегали от копны к копне. Уморился и молодчик Васька. Снял рубаху и, подставляя ветру белую грудь, кидал и кидал тяжелые навильники, выгоняя брагу.

– Поедем далее, сынок! Не будем мешать людям. Гляди, как споро работают. До свидания, бабоньки! – крикнул отец на прощанье.

Не выезжая на проезжую дорогу, отец направил Вальса по следу чуть заметной колеи меж полей, к сенокосным угодьям деревни Струны.

– К нам, председатель, пообедаем вместе, чем Бог послал. А я мигом Вальса распрягу, пусть обсохнет да поест травки, – встретил нас Евдоким, выходя из-за стога, в тени которого собралась на обед вся Струновская бригада.

– Хлеб да соль вам, люди добрые! Молодцы! Ударной работой порадовали. Не грех и пообедать с вами, – сказал отец, окинув взглядом усталых людей, усаживающихся возле опрятно сметанного стога.

Среди них я узнавал старушек, посещающих моленья в нашей деревне, подруг матери, мужиков, из них первого – комбайнера Евдокима.

– Принеси, Витя, и свои припасы. Столоваться вместе будем.

– К нам присаживайся, Кузьма, – пригласила Мария, крепкая старушка-староверка, мать Евдокима.

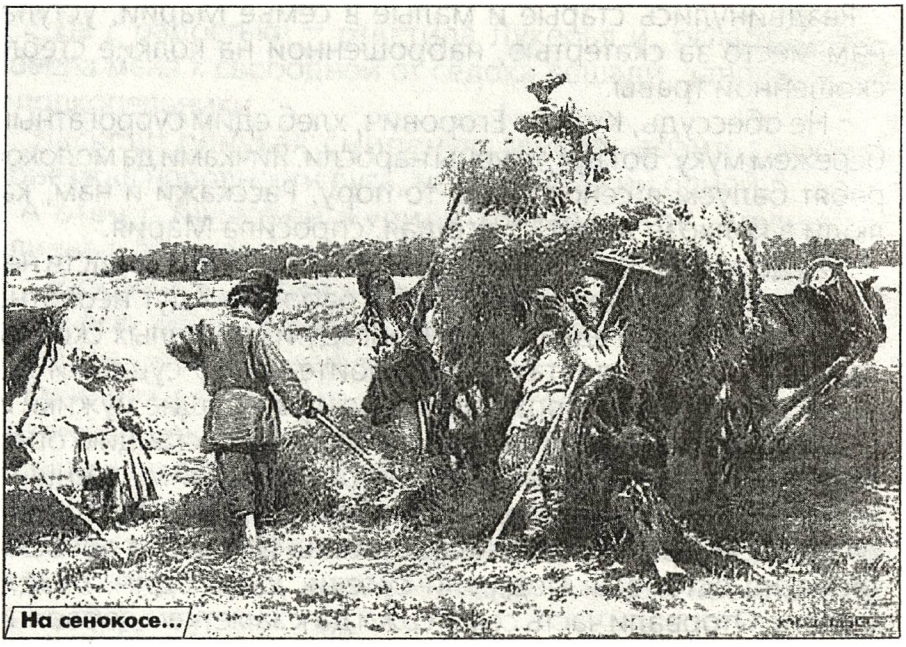
Раздвинулись старые и малые в семье Марии, уступая нам место за скатертью, наброшенной на колкие стебли скошенной травы.

– Не обессудь, Кузьма Егорович, хлеб едим суррогатный, бережем муку. Вот лук, огурцы наросли. Яичками да молоком ребят балуем в сенокосную-то пору. Расскажи и нам, как люди в колхозе живут? – угощая, спросила Мария.

– Худо живут. Все хозяйство обновлять надо. Средств нет. В рабочей силе нехватка. В найм работать идут неохотно. За оплату зерном едва сбили бригаду из пришлых скотные дворы к зиме подлатать. На строительство сушилки для зерна замахнулись, вроде толковые и работящие мужики из Кеза подрядились. Не за горами страда. На станцию опять же в Удмуртию на днях ехать собрался. Найму женщин. Без серпа семенные участки не уберешь и без выстойки в суслонах добрые семена не получишь. Посевную провели, зерна не осталось. Подмели сусеки, хлам один, стыдно молоть. Оторвали часть семян ржи да к заметкам добавили. Мукой и выдали вдовам, которые с детьми на руках. Всем не хватило, – не прерывая людей, обсказал свои думы отец.

– Спасибо и за такую мучку, Кузьма! – поднялась с колен старушка. – Совсем пропадали с тремя -то внуками. Дочь с детьми в городе жила, а весной их привезла. На мужа похоронку получила, захворала от горя, вскоре и сама померла, – заплакала старуха, уголками платка смахивая слезы. – Старшая вот на сенокосе, – опираясь на худенькое плечо девушки, указала она. – Младшая дома, с малым братиком водится. Тем и кормлю сироток, что из колхоза дадут, да люди принесут. Сама в годах, еле ноги волочу. Дак, запамятовала, еще покучусь тебе, председатель. Зимою последнюю козу забила, ребят горяченьким поддержать, а вчерась инспектор пришел, бумагой трясет, говорит – плати налог за нее, мясо сдавай. Я в слезы. «Чего реветь, в Совет иди, разбирайся!» – стращает инспектор. – Так пристыди ты их в Совете! Не то в тюрьму заберут, пропадут без меня сиротки!

От последних слов старушки дрогнули руки внучки, уронили ломоть хлеба на обеденную холстину. Поперхнулись едой мужики и бабы, притихли дети.



На сенокосе...

– Разберусь, Ермолаевна, не тужи более! – твердо сказал, вставая, отец.

– Да, задушен народ налогами. Нет послаблений и колхозу, почти все, что соберем с полей и получим с ферм, уйдет в поставки. Но прошу вас не опускать рук. Семьям рабочих живется не легче. В городах до сих пор нет возможности отменить карточную систему снабжения продуктами. Булка хлеба обходится рабочему в половину месячной зарплаты. Насчет приварка детям так порешим: выдать тебе, Ермолаевна, премию от колхоза суягной овцой с фермы. Опосля обменишь ее с приплодом на телочку.

– Дело для деревни решимое, председатель! Не оставим семью без скотины, – подал голос Евдоким, с трудом поднимая грузное тело с примятой травы, не спеша одернув засаленную гимнастерку, переминаясь на израненных ногах, заговорил:

– Верно, несытно живем и еще потерпим. А за что, за какие грехи скотину свою морим? Осокой, крученой по снегу, кормим. Море травы вокруг, а скосить для коровки – запрет. Опять же тюрьмой грозят колхозникам с района. Уж который год на собраниях просим выделить сенокосные участки

колхозникам! По ночам их скосим, а дети в ведро без нас в копны приберут. Помочами по первому снегу и вывезем, сыта будет скотина до выгона. Людям и спокой.

– Так, так, Евдоким, верно судишь! Поболе бы скотины держали. С налогами бы горя не знали, да и продать, что бы нашлось. Сами обносились, ребят не во что одеть, – жаловались бабы, обступившие отца.

– Годами копейки не видим. Трудодень, что он есть – оплата? Одна палочка! Так доколь задарма мы будем спины гнуть, подумай, Кузьма! – вытянув худые руки, рубила правду-матку одна из женщин.

– Нечем мне возразить вам, товарищи колхозники. На одних запретах далеко не уедешь, вреда от них больше, чем пользы, – выдохнул отец. – Поступим, как бывало на фронте, выиграем бой на сенокосе, заготовим в достатке сена скоту колхоза, а затем и своих коров вовремя кормами обеспечим. Такой мой сказ! – прекратил разговоры отец.

– Ты б осторожней, Кузьма, насчет «запретов». Ухмылялся все Артемий, слушая осмелевших баб. Кабы они с Пашкой хромым не вызвали «уполномоченного» на твою голову. Им-то что до людей? Тьфу! – обронил Евдоким, пожимая руку отца.

– Не беда, Евдоким! Им и поручим на правлении: учесть все неудобицы и поделить на участки для кошения травы скоту колхозников. Думаю, справятся счетовод и председатель ревизионной комиссии с этим делом для пользы людей.

– Во, во, Кузьма! Запряги их, – улыбнулся Евдоким. – Умно придумал, на себя в район не донесут!

Потревоженный вожжами жеребец играючи вынес коробок на ровные склоны увала, на котором приютилась деревня Струны. Вкривь и вкось уходили ее переулки к подножию лысой горы по низине с кущами пахучих тополей и развесистых кленов.

– Папа, тополя-то какие вымахали! – вертелся я на облучке, обращаясь к отцу.

– А ты, сынок, примечай: сколь родников-то бьет из-под горы, умный мужик уж видно давно строился по их бережкам – по зимам от северка гора защищает и вода из ключа под рукой – живи и радуйся!– отвечал отец.

– Папа, слышь, гармонь играет, пошто днем-то?

– Петруха это, гармонь починяет, затем играет, слушает – ожила ли? Петруха ноги свои на войне оставил, но не горюет, не бездельничает. Обувь шьет, гармони ладит. Тем и семью кормит.

На стук кольца распахнулась калитка, открывая взору могутного седовласого старца. С его лица, разнимая бороду, исходила добрейшая улыбка.

– Милости прошу, Кузьма Егорович! Давно не проведовал, заждались мы со старухой. Дел-то ноне невпроворот накопилось.

– Здравия и Вам, Фома Андреич! – оживился отец, пожимая руку старца. – Винюсь, Фома Андреич, чуя заботы Ваши.

– Не винись, председатель! Легче не станет. Стары мы стали, но порядок блюдем и дома, и на колхозной пасеке. Да другие думы гложут нас со старухой, хоть в ноги не падай, Кузьма! Проходите в ограду, все и обсудим. Ох, Кузьма! Не ведали мы, што жизнь-то не по писанию обернется! – выдохнул дед. – Погляди на избу. О шести углах срублена. С сыновьями задолго до колхозов ставлена. Всему семейству в ней места хватало. Обоих сынов война отняла. Одни похоронки и остались. Обе снохи работные были. Так их, как бездетных, колхоз на лесоповал все турил и турил. Любую-то, характером бойкую, елью загубило. Тихонькая-то в прошлом годе известила нас, што-де вышла замуж. Мил-де человек ей паспорт справил. Не нужны мы ей, чужими стали ...

Хмурились брови отца. Оторвавшись от медовых сот, я приник к складкам его гимнастерки, пытаясь спрятаться от вдруг налетевших в ограду пчел.

– Не боись, малый! Энти не ужалят, стары, как мы, стали, изработались. Вишь? Вкусили медка дарового, а сил взлететь нету-ка, – успокоил меня Фома.

– Дак че таить, Фома, от Кузьмы? – встрепенулась Ивановна. – Давай уж покучимся* председателю! Один племяш Сташка в родне-то остался. Все манит на житье к себе, в завод. На фатере, грит, с годок перебьемся, а там и дом перевезу, в Очере заново поставлю, углом не обижу. Многие, сказывают, едут из деревень. Мы уж

Поскучиться* – *попросить, покланяться.*

с Фомой и так, и эдак прикинули, а без спросу решиться не можем, – высказав сокровенное, поникла головой добрая старушка.

– Хоть и родной нам Остафий, да сумлеваемся, вдруг че не так, без избы останемся. Что посоветуешь нам, Кузьма? – привстав со сруба, спросил совета и Фома.

– Да ить еще скажу. До дум-то наших дознались, видно, Артемий с Пашкой. Пугать стали! Не связывайтесь-де с Осташкой, человек он бросовый. Бобылем живет, без фатеры казенной, мыкается-де в конюховке при заводе. Ревизией стращают! А че стращать-то? Без копейки колхозной, руками своими ульи лажу, трудодней не выпрашиваю. Им-то горя мало, как старикам жизнь доживать одиноко. Кто их, немощных, напослед приберет? Ответь, Кузьма?

– Да, Фома Андреич! Непростые орешки преподнес ты мне. Горя теперь у каждого полно. Сколь семей осиротевших, разоренных войною, раздетых, разутых, без хлеба и скота, не счесть. И никто горя их не поймет, не познает. Вот у нас на все умелец, кузнец Никола, недавно свою жилую пятистенку продал, на вывоз тоже. «Не жаль?» – посетовал я. – «Ты, говорит, председатель, на жалость не дави. Одного мне сына война вернула в 20 годков-то инвалидом. Ожил Ваньчик, на вечерки зашастал, вся грудь в орденах, да гол как сокол. Чуем со старой, женить пора парня, измают девки. Да на какие шиши? Колхоз деньгами не балует, вот дом и продал. Молодых в город спровадил. Ране Ваньчик в ФЗУ учился, с завода был и призван, там пусть обживаются. А сами подлатаем зимовку на два окна, места хватает». Жаль, очень жаль и дома добрые, и руки молодые терять колхозу, но винить ни кузнеца, ни вас не берусь! – сказал, как отрезал, отец.

– Заступник ты наш! – поклонилась Ивановна и, подняв голову, перекрестилась: – Господи, храни... тя, – и, не выдержав, заплакала.

– Уймись, старая! Не причитай теперя. Дай подумать нам с Кузьмой, куда пчельник определить, под чей догляд доверить! – беспокойно заговорил Фома.

– Не торопись, Фома Андреич! В зиму на месте пчельник оставим, под твоим приглядом, а весной в деревню Коточиги

ульи перевезем, у Миши Долгого на пасеке и определим. Семья Михаила на поправку пошла. Хозяйка еще не в годах, да на радость сыновья живые вернулись. Старший, Киприян Михайлович – в полном здравии, председателем Совета избран. Младшего-то, Павла, на руках, было, в родной дом заносили, досталось моряку сверх всякой меры, боле года в госпиталях штопали. Бани, травы да забота родительская на ноги парня поставили. Небось, слыхали? У вас в Струнах невесту ему уже сосватали.

– Верно, баяли! – оживилась Ивановна. – Тоня славная, работящая. Недолго думала, собрала узелок да убегла уж к жениху-то. Поди не обидит?

– Добрая невеста, Ивановна! Значит, быть справной и пасеке в колхозе. Не пропадут труды Ваши.

На вечерний закат тянулась обратная дорога по полю к приметной Микитиной ели. Дневная жара уже спадала, уступая прохладе вечера. Не сотрясая плетенки коробка, резал Вальс свои саженки и мерно похрапывал, чуть вскидывая гордую голову. За день уставший, я приник к сильному телу отца и малость забылся.

– Тпру! – вдруг он зычно осадил жеребца. Размежив веки, я увидел во ржи Вани Ванина телегу.

– Ась! – донеслось из-под шапки Ивана. Черные руки его тянулись к вожжам, захлестнутым за облучок, но ухватить не успели.

Справный в теле мерин Лысанко, учуяв храп ненавистного жеребца, так хватил в сторону всей упряжью, лишив опоры, видно, задремавшего возницу. Взмахнув руками, как тучный сноп, упал Иван в придорожную пыль.

– Все ли везешь, не растерял ли чего? – прыснул отец.

– Один керосин и везу, – отвечал Ваня Ванин, вставая.

– Дак, маслов-то в МТЭсе нету?

– Погляди вот, бумажку дали на базе, грит, на станцию в Бородули езжай, там и получишь, – шарил он по карманам мазутного ватника.

– Не ищи! Горе ты наше, раз надо, завтра же на станцию и поезжай, поездов берегись! – смеясь, напутствовал Ивана отец, не держа больше на месте плясавшего Вальса.

– Что соскочил ни свет, ни заря? – прошептала бабушка, ставя противни со стряпней в жарко истопленную печь. – Вишь, спят ребята, еда не поспела.

– В деревню сбегать надо шибко, бабуля! – запел я, протирая глазенки.

– Бежи ты хоть куда, – пробурчала она.

– Не печалься, я мигом! – и сорвался к избе деда Абрама, в которой квартировал Ваня Ванин.

– Чаво потерял? – спросила бабка Абрамиха, открывая скрипучие, обитые тряпьем двери.

– Сына колхоза ищу, он плетку сплести вчерась обещал, – соврал я.

– В кузне он, трактора заправляет.

«Сейчас в кузню, договорюсь и забегу домой прихватить стряпню, без угощения откажет Ваня Ванин показать железную дорогу».

Меринок Лысанко был не столь ленив, сколь упрям, изворотлив даже в упряжке. На взмахи вицы тут же вертел головой, оскалив зубы, бил копытами по оглоблям.

– Дядь Вань, а пошто тебя «сыном колхоза» величают? – осмелев, спросил я уплетающего теплые шаньги Ивана.

Он, молча собрав с бороды крошки, все медлил с ответом. Затем тяжело выдохнул:

– Вместях, паря, с Афоней оказались мы в каком-то госпитале. Уж и не помню я, и когда, и где. Афоня сказывал: без счету нас, солдат, землею засыпанных, в траншеях откопали. Немец наперво минами нас утюжил, затем танки пустил, гусеницами рвал. Тех, кто в ночь не замерз, шевелил рукой али ногой, подобрали наши. Убитые там, под «станцией» и остались, погребены в траншеях, как в могилах братских.

– А дальше, дальше что стало с тобою, дядя Ваня?

– Подчистую обоих отправили по домам. Ехать куда, не знаю. В голове один гул стоит. Афоня сжалился, грит, пропадешь один. Привез вот в деревню да пристроил в отряд горючее возить. Баит, руки- ноги целы, а что в голове грохочет, так в шапке ее держи, не снимай и во сне. Бабы распознали, что возчик, видно, обжился у Абрама, по домам зазывать стали. Той – дрова привези, другой – старую стройку разбери, упавший тын подпери. Работа

не хитрая, знай ворочай. Бабы хвалят, досыта кормят, гостинцы Абрамихе суют – не ругалась бы, отпускала. А она рада-радешенька. Судачит, берите, не жалко. Постоялец-де ничейный, колхозный! И твоя бабушка добро помнит, ить стряпней угостила.

Приуныл я. Стыдно стало и за обман бабушки, и Ивана Ивановича. Дак что поделаешь, не обманешь – не поедешь и не скоро увидишь желе́зную дорогу. Взгрустнув, я обернулся и с высоты угора Мишонково попросил прощения у бабушки, провожая взглядом уже скрывающиеся дома нашей деревни. А повозку уже трясло по настилу большого моста на насыпи через речку Чепруниху.

Солнышко, припекая, поднималось к полудню. Лысанко, плутовато озираясь, просил пощады, пустив по заду малость белесых пушков.

«Я те, хитрец, спу́ску не дам, пока из боков иней не выжму».

– Дядь Вань, опять река. Как называется?

– Не буди часто, мочи нет, головушку ломает. Чепца энто, – вымолвил он, обнимая беседку.

«Чепца? Дак река наша, – размышлял я про себя. Узка шибко тут, воробей перепрыгнет».

А меринок, чуя норов ямщика, ходко затрусил в гору от реки, к показавшимся домам деревни Полино. Минуя стороной еще одну деревню, дорога свернула в прогалины темного леса, прохлада которого бодрила и успокаивала птичьим гомоном. Ваня Ванин, очнувшись, спросил:

– Где едем? – но, осмотревшись, сам и ответил: – Уж по волоку Степановскому. Токари за лесом-то будут, а там недалече и переезд.

– Дядь Вань, смотри, каки дома стоят, садом окруженные. Крыши красны, как у нашей школы!

– Так это и есть Токаринская школа.

– О, тожно, я мекаю, не дурачит нас Михалко. Закончу, грит, Токаринскую семилетку, а там махну в город Очер, на электрика учиться уж точно примут. Не спи больше, дядь Вань. Смотреть поезда боюсь я один. Шумят уж они вон там..., за лесом.

– Угу, слышу, уж катит, кажися.

Но голос его заглушил резкий протяжный гудок. Щемящей тоской огласив перелески, пронесся над нами и утонул на дальних угорах.

– Гудят, на подъем состав тянут, – враз оживился старый солдат, сверкнув глазами.

Что-то ожило в нем новое, незнакомое. А впереди по валу насыпи стучал колесами поезд. Та – ах, тах, тах – стелился по земле его тяжелый ход. Надсадно дымила труба паровоза, один за другим мелькали вагоны, последний из них, скрываясь в клубах пара, толкал перед собой еще один паровоз.

– Эко место времени ушло, абы знать, куды идут? Уехал бы, – вздыхая, вымолвил «сын колхоза», уронив слезу на кудластую бороду. – Переехала война поперек меня, поди оправься. Однако, паря, до переезда добрались. Вишь, запружен весь переезд подводами.

Ямщики, как сычи на копнах, присели на возах сена, растянувшихся перед полосатой трубой переезда. Ждали команды на переезд обоза.

– Сивко, Тигрик , Майка, – всмотревшись в упряжки обоза, закричал я. – Так это ведь наши лошади, а вон еще струновские, лисковские!

На крик обернулся ямщик с крайнего воза, в нем я узнал нашего Михалка. «Вот тебе и Бородули! Бежать от брата тут некуда».

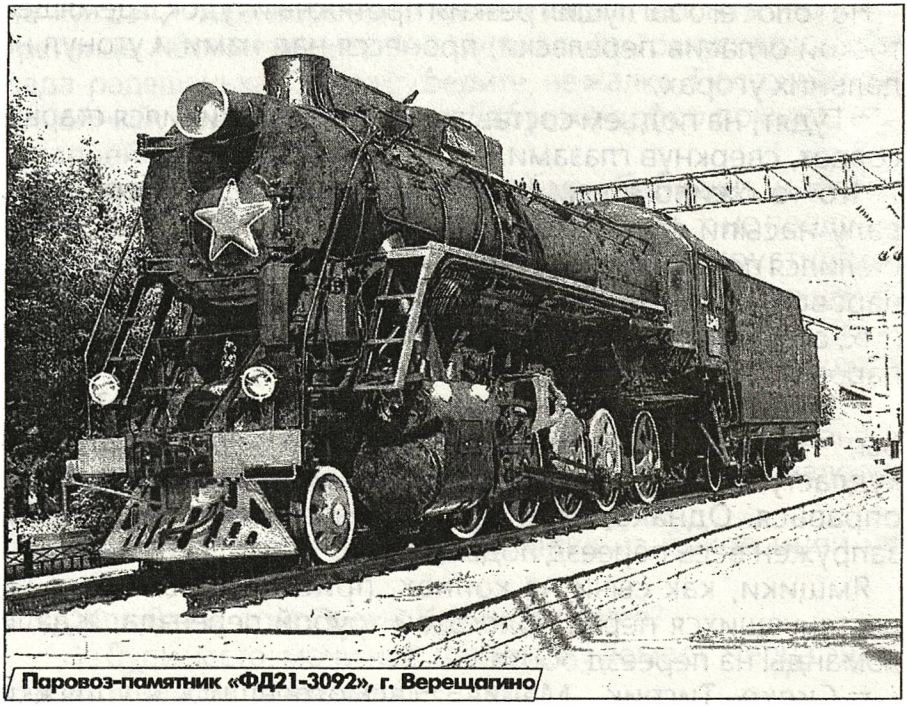
– Дядь Вань, наши едут сено сдавать. Мишка поймает – не видать мне Бородуль, куда же смыться, не знаю, – шептал я «сыну колхоза», не спуская глаз с полосатой трубы.

Вдруг она качнулась вверх, как наш колодезный журавль, открывая проезд обозу.

– Но -но, пошли, – понукали с возов ямщики усталых коней, чующих опасность от настила через гудящие стальные рельсы.

Подобрался и наш Лысанко, не отставал от обоза. Но что это? Женщина в синей форменной одежде, опустив фонарь с красным светом, кинулась к нашей повозке.

– Из ума ты вовсе выжил, Ваня Ванин! Ребенка тащишь в такую даль. Поди, и мать не знает?



Паровоз-памятник «ФД21-3092», г. Верещагино

– Не ругайтесь, тетя Катя. Сам напросился к дяде Ване, – опомнился я, узнав добрую Федькину тетю. – Шибко охота ведь посмотреть поезда! Вот из дома и сбежал.

– Ладно уж. Оставайся при мне, догляжу. Поезжай, Ваня, в обрат заберешь. Вот - вот пассажирский пойдет, встречать надо, – успокоилась тетя Катя, закрывая шлагбаум.

Отпустив повозку, отвела меня в сторожку, от крыльца которой разбегались вдаль стальные нити рельс. Так вот она какая – железная дорога! По сторонам-то ее провода висят на столбах, гудят без умолку. Видно, часто по ним люди говорят: куда ехать, что везти?

– Садись-ко , милок, на диван да поглядывай в окно. Из будки без меня – ни шагу! Пассажирский провожу, чайком тебя угощу.

«Скоро ли поезд появится?» – вздыхал я, ерзая на крашеной доске дивана. Смотрел на ходики, тикающие над столом. «МПС» была метка на них. Приглядевшись, увидел «МПС» на боковине стола, стула и диване сторожки. «Все казенное, видно», – думал я и хотел уже ощупать эти вырезки печатных

букв «МПС», но, услышав гул «пассажирского», бросился к окну. Тень бегущей по рельсам громады уже застилала и без того задымленные стекла сторожки.

– Ничего не увидеть! – вскричал я и выскочил на ступени крыльца.

И вот он, паровоз! Катит рядом. Смотри – засмотрись. Изрыгая клубы черного дыма, пыхтя парами, тянет красивые зеленые вагоны. Стальные водила, отливая маслами, вращают тяжелые колеса, тах-тах-тах, устало движется паровоз, одолевая подъем. Катятся чудо – вагоны, перекликаясь на стыках рельс. «Москва – Владивосток» – осилил я надпись на табличках и прошептал название «пассажирского».

Едва не касаясь крыльца, проплывают мимо окна вагонов, многие из которых настежь открыты. Встречный ветерок ласково колышет раздвинутые занавески, обдувая свежестью пассажиров.

Одни из них, важно облокотившись на столики, не спускают глаз с проплывающих мимо в летней жаре полей и перелесков. Другие трапезничают, как в гостях, хрумкают сладости, жучатся в карты мужики.

Нарядная девчушка, заметив меня, тянется к окну, тычет пальчиком, смеется.

– Эй, малыш! Рот закрой, ворона залетит, – услышал я.

– Сама ворона! – кричу ей в ответ, а вагонов уже нет, укатили.

Затихли рельсы, как будто не содрогал их поезд. Снова загудели провода. «Никогда, видно, нет покоя на железной дороге», – думал я, поджидая тетю Катю.

– Как же так, Витя! – упрекнула она, подходя к сторожке. – Велела ведь не покидать сторожки.

Но я, поймав свободную ее руку, с таким восторгом запел «песни» об увиденном, захлебываясь словами, приврал даже о том, что сторож с ружьем и тот с площадки последнего вагона помахал мне рукою: «Будь здоров, малец. Расти большой и не то увидишь».

– Ладно уж, прощаю, – смилостивилась она.

– Что это, тетя Катя? Тележка к нам по рельсам-то катится, без лошади вовсе.

– То паек, милок, везут. В самый раз нам везут к чаю угощение.

– Катерина, принимай припасы. Паек побогаче ноне, добавили малость и хлеба, и сахару, – говорил дяденька, слезая с тележки. – Вот тебе по норме, что полагается, – быстро подавал ей кульки со съестными припасами. – Будь здорова, Катерина! А мне еще до Бородуль катить да катить, пока пути свободные, – и, вскочив на тележку, потянул рычаги. Взад – вперед, взад – вперед закачался он, разгоняя тележку. Только его и видели.

– Тетя Катя, как же тележка сама катится?

– Дрезину-то, милок, рычагами движут, как велосипед педалями ваш Михалко крутит.

– Здорово! Про дрезину, самодвижущуюся тележку ребята в деревне и не слыхали! Расскажу, не поверят!

– Поверят, поверят. А сейчас пойдем-ко чаек сварганим. Припасов вон, сколько добавилось, – поманила меня тетя Катя в сторожку.

После чая надолго ушла тетя Катя встречать и провожать поезда скорые, товарные и солдатские. Особо взволновал меня солдатский, видно, очень тяжелый. Надсадно тянули его паровозы. На открытых платформах везли зачехленные в брезент танки, пушки, машины. В настежь распахнутых проемах вагонов стояли солдаты, облокотившись на ограждения, шумно общались, другие, видно, отдыхали, растянувшись вповалку на сколоченных нарах. А вот катит веселый вагон – гармонист, сидя, притопывая сапогами по завагонной пустоте, трясет кудрями, наигрывая.

Эх, яблочко, да на тарелочке,
Надоела мне жена,
Пойду к девочке...

Выделывали кренделя два солдата.

– Вот, держи-ка узелок, Витя. Передай гостинцы нашим, – провожала тетя Катя, подсаживая меня на облучок повозки к «сыну колхоза».

Меринок, не чуя ног, спешил домой. Не уросил и не сердился, не отвлекал меня на понукания. Не замечая обратной дороги, укладывал я по полочкам досель не виданное на железной дороге.

– Дядь Вань, послушай, – тормошил все дремавшего старика. – Как думаешь, от Москвы куды танки повезут?

– Мне-то почем знать, – чуть слышно доносилось от его бороды.

– В Германию, наверно.

– Куда боле?

Навсегда мне запомнилось увиденное начало «большого мира». В годы детства и отрочества я не докучал более «сыну колхоза», при случае оказывал посильную помощь, скрашивая его нелегкую жизнь. Даже не забывал по утрам угостить его душистыми яблоками, снятыми по ночам в садах нашей деревни.

Но, приехав на побывку во время армейской службы, я не застал Ивана Ивановича. На залавке печи в доме уже овдовевшей Абрамихи его место пустовало.

Утром я рассказывал бабушке о том, что увидел, попав на железную дорогу. Она и слушать не хотела:

– Не жужжи! Не до тебя теперя. Мать на сносях, а вам бы все бродяжничать только, – сердилась бабушка. – Вечером всех на грядки и картошку повыгоняю. Нечего мне одной спину гнуть. Вишь, все позаросло, ничего уж в траве-то не видно. Че к зиме-то припасешь? Никому не горе.

– Ладно, бабушка, до вечера далеко, а днем -то можно в деревню сбегать? Узнать, выкупил ли Пашка кино, папа ведь всем колхозникам обещал бесплатно показать. До читальни дойду, может, избач что знает?

«Пойду к Вите, сманю в читальню. Вдвоем веселее», – подумал я и направился к дому Филимона. Как всегда, Филимон суетился в своей ограде, ловко помахивая граблями, подбирал сенные крохи. Ни одной сенинки не упустит, злюка такая!

– Дедо, как поживаешь? – спросил я громко и приветливо. – Витя дома?

– А, явился, бродяга! Где пропадал? – остановившись, спросил Филимон. И, явно зная о моих похождениях, стал все выспрашивать.

Я молчал и следил за ним, как бы не огрел жадный граблями.

– Уймись, старый! Не пытай малого, – урезонила в открытую створку окна добрая Витькина бабушка. – Надоел ты всем, как горькая редька. Суешь свой нос, куда попадя, ничем не брезгуя. День и ночь гребешься, старый петух. Все те мало!

Но мимо ушей его летели слова старухи, не задевая в душе деда ни капли совести, еще пуще махал он граблями, не бросая дела.

– Идите уж, побегайте, – проводила нас с Витей бабушка, сунув нам по калачу. Домой загодя вернись, внучек! Чтоб не искать тебя по деревне, под брехню сварливого деда.

– Чего шляетесь! – окликнула нас Шурка-слепая, направляясь к высокому крыльцу сельсовета с дружком воды. Но, услышав заливистые трели звонка сельсоветского телефона, мигом бросилась в дом.

– Ало, ало! Сельсовет, – слышалось из снятой Шуркой телефонной трубки. – Я не «алле», а техничка сельсовета! Чаво хотели? – и, прижав к уху трубку, застыла. – Поняла, поняла, как есть ему передам, – ответила Шурка и повесила трубку.

– Што требуют? Скажи, Шура, – теребил я за подол ее просторного платья.

– Чаво, чаво! Кино в читальню привезут, Гришку ищут. Звуковое кино, судят: дорогое! Пусть-де Гришка собирает боле зрителей, задаром трястись не желают!

– Дак кино, Шура, безбилетное будет!

– Отколе взял?

– Отец сулил! По бригадам с ним на Вальсе ездил, устают люди на сенокосе, говорит, хоть какой-то отдых бы им

предоставить, ребятишек порадовать, закажу-де кино бесплатное, вроде, как праздник устрою.

– Чего же стоите? Дуйте трезвоньте! – турнула нас Шурка из сельсовета.

...С высоты угора, топая по нагретой дорожке средь пшеничного поля, я оглядывал огороды и избы нашей нижней улицы под несмолкающий стрекот кузнечиков, порхающих по колосьям с наливающимся зерном и созвездиями синих васильков. Красота -то какая и тишина. А за рощей в мареве Низпорички виднелись стога сена, цепочкой тянувшиеся до темного леса по берегу Чепцы. Где-то там, на нижних лугах, не покладая рук от мала до велика на последних постатях мечет сено вся деревня! Я послал ей новость с божьей коровкой, сдунув ее с ладоней:

– Лети скорея! Обрадуй деревню кином, не забудь – звуковым!

Генка тянул меня с полатей:

– Вставай! Вечером проспал нас, утром дрыхнешь доле всех – не жизнь, малина. Праздник сегодня! Ильин день, и в колхозе отдых дали, и еще... еще.

– Не ищекай, без тебя знаю. Кино бесплатное, понял?

Днем, шатаясь по деревне, вся ребятня поджидала обещанное кино.

– Везут, везут! – кричали мы, открывая ворота, пропуская резвую парку.

– Ящиков - то на телеге... А вон, видно, мотор стойком, выше поклажи привязан, – шептались старшие.

Перво-наперво избач Гриша, поправив свою моряцкую бескозырку, вручил печатные афиши верховым ездовым, дежурившим у коновязи Совета. Затем наш отец и рыжий Киприян (председатель Совета) вручили им еще по бумаге, и те махом сорвались в починки и деревни сельсовета.

Два важных киномеханика осмотрели зал избы-читальни, затем двор Совета и остались чем - то недовольны.

– Так сколько же вы обещаете нам зрителей? – спросил один из них, обращаясь к рядом стоящим Гришке и Киприяну.

– Весь колхоз! Энто девять деревень, боле тысячи населения, – выпалил Киприян.

– За сколь платить собираешься, председатель? – рядились киномеханики.

– Счетовод выкупит двести билетов, а ребятишки при взрослых места заслужили! – отрезал отец.

– Добро, председатель, по рукам!

– Я вот тут прикинул! Ворота крепкие, под крышей. На них и повесим экран, по бокам его на табуретках громкоговорители поместим. В скамейках в деревне нужды не будет, дорога – как пол, на нее и поставим – вот вам и зал.

– А на откосе перед той избой, – указал киномеханик через дорогу на дом Тимихи, – аппаратуру на стол уместим. Двигатель за домом в кустах спрячем, глядишь, шуму в «зале» не будет. Как слышали, задачи поставлены, теперь за работу, товарищи!

Что тут началось! Мы, ребятня, очистив читальню и сельсовет, принялись потрошить избы верхнего конца. Вчетвером, впятером таскали тяжелые вековые лавки, не видавшие ранее «белого света», рядами расставляя их в «зрительном зале». Избач Гриша еле успевал за нами, успокаивал хозяев, говоря о благом деле для всех жителей.

Председатель сельсовета Киприян не отходил от старушки Тимихи. Перед окнами ее дома уже копошились киномеханики, разбирая ящики с «адской» аппаратурой. Старушка навзрыд голосила, прося людской и божественной защиты своего дома.

А жители уже рассаживались на скамьи и глазели на необычайные приготовления. Затихла и Тимиха, напоследок осенив себя двуперстием, скрылась, прогремев запором калитки.

Народ все прибывал: шли семьями из ближних деревень, подъезжали на телегах с дальних. Оглядевшись, старшие

усаживались на лавки по полотну дороги, молодежь грудилась на угорчике перед избой Тимихи, а мы, мелкотня, рассыпалась перед белым экраном. «Зрительный зал» гудел, как пчелиный улей.

Вот две молодушки помогают присесть на скамью морякам Павлу и Семену из деревни Коточиги. Оба при парадных кителях, они впервые вышли показаться людям, малость оправившись от тяжелых ранений.

– Слава Богу, поправляются! На ноги встали, – шепчутся бабы. – А жены-то, Тоня с Марусей, так и цветут!

– Вон ящики, видите, стоят на табуретках? Все кино будут говорить и играть. Как радиоприемник в конторе у Пашки, – заливали Геннадий с Федей ребятам из деревень, многие из которых не видали никакого кино.

Тени развесистых тополей сгустили сумерки, погасив зарницу над «залом». Затих говор кинозрителей.

– Пора начинать, председатели? – обратился в тишину «зала» старший киномеханик, настраивая киноаппарат.

– Скажи слово людям, Кузьма Егорович, – подоткнул отца Киприян. – Праздник у всех! Не покладая рук сенокос поднимали.

– Прежде всего, спасибо всем! Не отказались принять приглашение и дружно собрались! – отметил отец, обращаясь к «залу». – Сенокосные работы завершены. Вы на славу потрудились! Мы, колхозники, и наши дети заслужили не только слова благодарности, а нечто большее. Ваши заслуги отмечаются премией, одной на всех. Демонстрацией звукового кинофильма, первого в наших краях.

– Ура, ура... ура! – взревели мальчишки, устраивая перед экраном «кучу-малу».

– Скажу и о более важном для вас. Выиграв мирные сенокосные «бои», мы имеем возможность вовремя скосить, сжать все, что годно на корм скоту в личных дворах. Комиссия по распределению участков утверждена на

правлении колхоза и приступила к работе. Думаю, в два дня вы управитесь и с этой задачей, снимете одну из забот о завтрашнем дне. Чтобы провести этот вечер всем с праздничным настроением, не помешает посоветоваться. Киномеханики переживают: смогли подобрать для звукового показа два кинофильма, как затронет душу сельского жителя их демонстрация? «Верующий у вас народ? – спрашивают они. – Вон, как встревожилась хозяйка дома, глядя на «адскую» киноаппаратуру. Не разбудим мы деревню «канонадой» громкоговорителей?».

– Не тревожьтесь, товарищи киномеханики! Делайте свое дело. Что до веры жителей? Так живет народ во время, когда молятся все: в надежде на возвращение своего кормильца, за здравие вернувшегося, войной искалеченного защитника, за урожай на нашей, слезами политой земле, за достаток в семье. Веруют, значит живут, не теряя исконные человеческие радости: когда смеются девушки и играют дети! При нас они и в «зале». Итак, смотрим оба фильма, уважаемые кинозрители?

– Да, да... да... а... а, председатель!

Ожил мотор за избой Тимихи, мерно стуча, оживил и киноаппаратуру. Брызнули лучи света из ее «глаз», осветили белый экран, и замелькали на нем черточки-звездочки.

– Здорово придумано, – шепталась ребятня.

– Вначале посмотрите киножурнал из серии документальных фильмов, снятых в условиях военных действий, – объявил старший киномеханик, запуская киноаппаратуру.

На экране появились четкие кадры. Вот, как наяву, склонились военные над картой, расправленной на части массивного стола, переговариваясь, указывают на красные стрелы, охватывающие направление синих. И, сверив часы, разошлись.

– Вишь, Петро? Видать, в Германии снимали, генералы-то наши молодыми смотрятся, – пояснил Иван Денисович соседу по лавке. – Сейчас дадут жару проклятым фашистам.

В подтверждение его слов взвились на экране десятки ракет. По их сигналу осветился экран трассами орудийных снарядов. Гремели громкоговорители, разнося раскаты выстрелов и взрывов по верхнему концу и, отражаясь от «Стешкиного угора», эхом они неслись по всей деревне. А на экране по всей линии вражеских укреплений летели в воздух камни, бревна, комья земли и клочья разорванных фашистов.

– Молчат немцы, берегут силы, ждут нашей атаки, – слышен говор бывалых вояк. – Уж кто-кто, а немцы, брат, умеют воевать.

– Ничего, дадут наши им прикурить, про «Катюши»-то слыхали? – возразил мужикам Афонасий Васильевич, – самое время в ход пускать. Ишь, малость прекратились орудийные-то раскаты, жахнут сейчас залпы из «Катюш»!

И что это? Сплошное море огня и металла обрушилось на позиции гитлеровских войск. От гула сотен реактивных снарядов, срывающихся с «Катюш», даже у нас, зрителей, на миг закладывало уши. Горела земля под ногами врагов. Прыгали фрицы, как тараканы и, падая, сгорали.

– Пришло время и атаковать немца, – вновь подал голос Афонасий.

По сигнальному пуску ракет взревели моторами танки и, покидая укрытия, лавиной ринулись в атаку, прикрывая нашу пехоту.

В полный рост все, как один, в пристегнутых касках, с автоматами наперевес, сливались они с танками в единую непобедимую силу.

– Бабоньки! Всмотритесь в родненьких! Может, промелькнет знакомое лицо? Храни их, Боже, в конец-то войны! – вздыхали зрительницы, впервые увидев живые съемки войны.

Однако враги, придя в себя, отчаянно сопротивлялись, открывали минометный огонь.

Но вот новые кадры. Танки, прорвав оборону противника, крошат особо укрепленные дзоты, давая возможность пехотинцам вступить в рукопашную схватку с недобитым врагом.

– Ура... а... а! – несут победный порыв пехотинцев громкоговорители.

– Полундра... а! – неистово голосит и Пашка-«моряк», поднимаясь из кучки коточиговских ребят и, правясь к экрану, выдает заливистый свист, глуша громкоговорители.

– Куда ты, Паша? – держат его ребята за широкие моряцкие штаны.

– Морским пехотинцам помочь! За отца – моряка отомстить! – скрежещет зубами отчаянный паренек.

Кинофильм «Веселые ребята» – историю о похождениях пастуха-музыканта – зрители восприняли на ура! Особенно мы, дети военных тяжких лет. Впервые, собравшись в одну кучу перед экраном, так дружно и радостно смеялись, веря и не веря сценам комедийного фильма.

Расправили плечи и взрослые, долгие годы живущие в горе и заботах. С улыбкой на лицах слушали торжественную мелодию марша и задушевные песни в исполнении Леонида Утесова и Любови Орловой.

И, казалось, ликовала вся деревня от слов:

И любят песни деревни и села,

И любят песни большие города.

– Спасибо, председатели! – поднимаясь со скамей, благодарили жители отца и Киприяна.

– Отдохнули! Завтра и всласть поработаем! Выполним твое, Кузьма, поручение, позаботимся и о себе, подберем все до травинки.

ЭПИЛОГ

...В поездку на станцию отец брал меня с собой. Десять женщин дали согласие поработать в колхозе на жатве хлебов.Своевременно пустили в работу зерносушилку, просушив зерно ржи и ячменя на размол муки для выдачи аванса колхозникам.

Геннадий был определен вожатым первой пристяжной лошади в упряжке жатки на скашивание хлебов. Уставал, днями сидя в седле. Косец Семен Никифорович не допускал меня к жатке. Говорил: «Убирась от греха подальше». Строг был дядя Семен и с вязальщицами горстей. Учил их, как ловчее приготовить вяз и быстро затянуть всю горсть в сноп. Неумех он не терпел.

– Шевелитесь, – говорил он бабам. – Каждый обжатый круг хлебного поля должен быть свободным от горстей, чтобы не задерживать следующий за ним проезд жатки.

Когда мама работала на вязке после управки на ферме колхоза, я помогал ей готовить вязы, стаскивать готовые снопы. Дядя Семен изредка хвалил маму и заодно меня. Сколько слез пролили на поле вязальщицы! Особенно удмуртки, работающие по найму. Почти у каждой из них на руках были дети. Оставляли их одних в сторонке и, хоть заревись дети, мать, не убрав горсти, помощи не оказывала. В сентябре школьников освободили от учебы на две недели для работы в колхозе на уборке урожая.

В школу меня не приняли. Заведующая Овчанковской начальной школой Солина Степанида Карповна сказала: «Приму в следующем 1947 году, в семь лет!».

Все осеннее время я помогал бабушке. Сжали с ней пшеницу, выкопали картофель, убрали с грядок овощи.

И еще я любил в ненастные дни проводить время в сушилке колхоза. Ворошил зерно на горячем поду, таскал

целые чурки дров для ненасытной топки. За это мне дед Денис разрешал печь печенки. Иногда я брал с собой и внучка Филимона – Витю.

Семья Мальцевых, первый ряд: Виктор (1940 г.р.), Кузьма Егорович, Анна Тарасовна (на коленях – Петр (1946 г.р.), Геннадий (1937 г.р.), верхний ряд: Михаил (1930 г.р.), Нина (1927 г.р.). Снимок 1947 г. Всего 13 детей , последний – адмирал в отставке.

Дюнькина женитьба

Осень и зима минули в нескончаемой череде школьных дней. Наконец наступили солнечные дни весны. В один из них, возвращаясь домой из школы, узнали горькую весть: умерла Федина мать – Нюра. Мы с братом Геннадием, не раздумывая, кинулись к их дому. На скамейке в ограде сидели старухи, причитая: «Всю ноченьку промучилась бедная, – и, крестясь, – на все воля божья, это нам за грехи наши... Фельдшерицу-то не нашли, помочь бедной некому было».

Вину молоденькой заведующей медпунктом никто не установил, а весенние заботы захлестнули людей, и без того уставших от повседневной нужды. От вспаханных полей исходило струящееся на ветру марево, в прогалинах которого периодически обнажались дымки тракторов, надсадно тянувших за собой сцепки борон и сеялок. К ним от складов двигались тяжело груженые телеги с мешками семян. Не отрываясь от дел, люди, на ходу крестясь, кланялись горстке бредущих по полевой дороге стариков и подростков, провожавших Федину мать в последний путь...

За лето бабушка Феди от постигшего семью горя совсем сгорбилась, почти перестала есть, все валилось у нее из рук. Семья бедствовала, лишившись единственной кормилицы. Что мог получить Федя на заработанный трудодень? В колхозе он оценивался авансом в 200 граммов муки. Чем могли, мы подкармливали Федю и его младшую сестренку Асю. Часто приносила хлеб продавец тетя Катя, советовала сиротам, чтоб собирали травы, высушив которые, можно смолоть и добавить в хлебные крохи. Старший, Коля, был отправлен на учебу в ФЗО. Приходил из Очера очень редко, да и помочь младшим он ничем не мог. А частые отлучки из дома с занятий грозили

даже «решеткой». Деревенский соглядатай, хромой Пашка свое черное дело выполнял исправно, поэтому бабушка скорей отправляла Колю в обратную дорогу.

– Ты уж, Коленька, иди, не пропускай учебу-то, не горюй за нас, – наставляла она плачущего внука, подавая ему кошелку с травяными постряпушками.

В один из холодных осенних дней не стало и бабушки. Мы обнаружили ее лежащей на мостках у прудика. В скрюченных похолодевших пальцах бабушкиных рук был намертво зажат валек, которым она колотила при стирке домашнюю лопотину.

Одни остались Ася с Федей. По совету нашей мамы перешли жить из большой избы в пустовавшую маленькую избушку в нижнем конце деревни. Начинались холода. Все, что можно было, пилили на дрова мы с ребятами, тащили им, чтобы истопить печь, и в долгие вечера при свете самодельной коптилки играли в дурачка самодельными картами, изготовляли поджиги, из которых стреляли тут же в избе. Учебу Федя забросил, работал возчиком кормов на ферме, подрастая, приобретал взрослые манеры поведения, выполнял наставления соседей по ведению хозяйства. В очередной приход тетя Катя о чем-то долго шепталась с ним, а наутро, оставив Асю у соседки Данилихи, отправились они на железнодорожный разъезд.

Долгую неделю весенней распутицы я жил на квартире деда Ивана Ивановича, подтянулся в учебе, поправив состояние школьного дневника, закончил шестой класс. Больше всего любил математику, зачитывался романом Каверина «Два капитана» и мечтал скорей вернуться к свободе летних дней.

Деревня встретила нас знакомыми глухими хлопками работающей «нефтянки» на складе колхоза, недавно установленной для привода механической мельницы.

Заглянув в ее гудящее нутро, мы разбежались по своим домам.

– Бабушка, я к Феде, тебе после помогу, ладно? – на ходу уплетая долгожданную стряпню, едва переступив порог дома, кинулся обратно.

– Не до вас Феде, поженила его Катерина, на днях привела невесту, хозяйку в дом, – обстоятельно докладывала новости моя бабушка.

– К-х-какая еще невеста? – поперхнулся я, услышав это сообщение. – Кусок пистечного пирога застрял у меня в горле.

– Такая вот. Как же жить им без догляда в доме. Федя робит в колхозе, а за Аськой смотреть надо, да и по хозяйству дел хватает. Гляжу я на них – не сироты сейчас вместе-то стали... Ничего, что годков мало.

Не слушая более бабушкины россказни, побежали с Генкой к Фединому двору. Дома оказалась одна Ася и на наши вопросы, где же Федя, не переставая перебирать свои черепки, промямлила: «В магазин с невестой ушел...»

Еще издали на крыльце магазина я заметил две фигурки – Феди и его невесты. Они стояли среди десятка односельчан, поджидающих продавца с товаром из сельпо. Продавец, Катя Трошиха, была вторым после председателя почитаемым человеком в деревне, всегда старалась привезти пару лишних булок казенного хлеба, тем самым поддерживала сирот и немощных стариков, потерявших за долгие годы военного лихолетья своих кормильцев. Видимо, этого хлеба и дожидались сведенные горькой судьбой дети, признанные всей деревней новой семьей.

Я заметил лишь веерок золотистых веснушек, окружающих курносый носик. Взгляд ее, засветившись, предупреждал – не смотрите вы на латаное платьице, цыпки на босых ногах – я же невеста! Ледок отчуждения

растаял без слов и объяснений жениха. Дюнька оставался по-прежнему закадычным другом.

Разгрузив подводу с товаром, продавец была особо щедра к молодоженам и, кроме заветного хлеба, подала невесте кулек «долгоиграющих» подушечек и еще какие-то, видимо, заранее подготовленные сверточки. Сама же, как бы забывала отщелкивать костяшками магазинских счетов.

Все лето мы трудились наравне со взрослыми. В свободное время гоняли в лапту, страдовали в огородах справных соседей, дрались, не поделив лошадей или облюбованный инвентарь конного двора.... Дюнькина невеста была наравне в нашем строю, не ныла, не пищала. Осенью молодая семья отбыла в соседнюю деревню к дяде, вернувшемуся с фронта.

***

Сорок лет я не видел Федю. Но в начале девяностых, узнав от брата Геннадия, где он живет, в один из солнечных майских дней поехал к бывшим «молодоженам». В столовой поселка мне объяснили: «Во-он, в этом четырехэтажном доме живет с семьей Федор Евдокимов».

На звонок вышла дородная, жизнерадостная женщина.

– Вам кого? – спросила она, широко улыбаясь.

«Та ли эта невеста?» – мелькало у меня во всех извилинах мозга, но ответа не находилось.

– Ф-Федора Евдокимова, – выдавил я, почему-то заикаясь...

– Он на выборах, в комиссии заседает, я сбегаю.

– Не беспокойтесь, у меня есть время, только скажите, где в поселке эта комиссия находится.

После усадив на просторной кухне, Федя все хлопал меня по плечу: «Смотри, это же Витька – математик, наливай, дорогая, еще нам по рюмочке».

Шесть взрослых красивых дочерей смотрели на меня с семейной фотографии, таких похожих на рядом сидящую жену Федора, а я все смотрел, искал на ее лице и не находил того ласкового веерка веснушек далекой Дюнькиной невесты.

По дороге в Кремль
Герой попал на гауптвахту

Впервые я познакомился и пожал руку настоящего, живого Героя Советского Союза Василия Григорьевича Злыднева, работая директором совхоза «Дзержинский», когда он выгонял на пастбище свою буренку, а я спешил на разнарядку. Скромность этого, тогда уже седеющего человека, с крепкой крестьянской хваткой не переставала удивлять меня. Новое здание конторы совхоза было построено по соседству с его домом.

– Василий Григорьевич, к осени тепло к дому перебросим от котельной конторы. Рядом же!

– Да нет, трубы ведь нужно, да и зачем вам эта канитель, – отвечает.

Тепло, конечно, подвели, и я частенько забегал к нему после работы посудачить, посумерничать. Прочитав в «районке» о его боевых подвигах, я попросил к очередной годовщине победы в ВОВ написать автобиографию, чтобы поместить под фотографией на стенде. Он уместил ее в полстранички из школьной тетради.

Часто вспоминая наши встречи, размышляю и как бы заново осмысливаю то время, тот ратный путь народа и героя – земляка. У народов планеты название ее – Вторая мировая. Для нашей же страны – Великая Отечественная, в горнило которой были брошены судьбы миллионов безвинных семей, перемолоты, стерты с лица многострадальной земли. Война в корне изменила уклад жизни населения и на территории нашего района, как составляющей частички государства, идущего по пути независимости и свободы, с гордым названием Союза республик, объединяющего народы с единым именем Советский человек.

Это имя пронес крестьянский паренек из деревни Разорилово Василий по всем дорогам войны, в грязи которых не однажды утопал в упряжке с побратимами, упорно таща безотказное в боях, дважды родное 45-миллиметровое орудие, изготовленное земляками с Мотовилихинского завода г.Перми. Познавая горечь отступлений, теряя до боли родных боевых друзей, он учился воевать. И день ото дня советский солдат, воодушевленный победным духом, даже уступая в вооруженности, гнал оккупантов с любых, казалось, неприступных рубежей.

Битва за Днепр, форсирование этой полноводной преграды, участником которой волей судьбы был и Василий Злыднев, стала апогеем его ратных подвигов. Горстка бойцов, оставшихся от переправы через стремнину реки, под непрекращающимся шквалом огня вражеских батарей закрепилась на берегу, окровавленная пядь которого уже стала родной. На крохотный пятачок не сразу могла прийти помощь. Бойцы знали это. И силы их удваивались. Единственная спасенная «сорокопятка», поднятая на руках по сыпучей круче берега, не умолкая, била прямой наводкой по ползущим танкам противника, пытавшимся раздавить все живое на отвоеванном у него плацдарме.

Командир расчета этого маломощного, но незаменимого в ближнем бою орудия – старший сержант Злыднев потерял счет горевшим, подбитым ими танкам фашистов, свастика на бортах которых рябила в глазах оставшихся в живых воинов.

Передние ряды танков встали, застилая пологом дымовой завесы путь напиравшей на них нескончаемой армаде бесновавшихся от злобы гитлеровцев, бессильных дотянуться до погибающих у орудия солдат. А они на глазах врагов уходили в бессмертие, даже не осознавая величия своего подвига...

И только через десятки лет о тех, погибших, споют: «Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой...»

Старший сержант Злыднев за совершенный подвиг стал Героем Советского Союза.

Земляки и родственники в деревне с раскрытыми ртами охали, рассматривая вернувшегося с войны в наградах героя, трогали Золотую Звезду, которая лучисто светилась под зажженной по случаю встречи 10-линейной керосиновой лампой – молнией.

Было время жатвы хлебов, и праздничные встречи прекратились скоро. Отдав свои сбережения брату на строительство дома, Василий перебрался на работу в артель сельской кооперации в д.Вары и, освоив нехитрое производство крахмала из закупаемого у населения картофеля, приобрел жилой домик, женился, а вскоре переехал в с. Черновское и устроился кочегаром в местное сельпо.

Мы дружили все эти годы, и я считал за долг помочь Герою. Подметив подгнивающие столбы ворот, попросил управляющего сельхозтехникой их заменить. В середине 80-х участникам войны – инвалидам стали выдавать бесплатно автомобили, я поинтересовался в отделе социального обеспечения, нельзя ли Василию Григорьевичу получить легковой автомобиль. Ответ: только инвалидам – не остановил, и ходатайство продолжалось. К тому времени у Злыднева стало ухудшаться зрение, сказывались многочисленные ранения и контузии.

Вскоре заветный «Запорожец» был припаркован в опрятном дворике Злыдневых. Я видел, что неподдельная радость стояла в глазах Василия Григорьевича, заскорузлые ладони рук, не находя себе места, беспрестанно поглаживали глянец краски нового автомобиля, а он, волнуясь, ходил вокруг него и спрашивал сам себя: «За что же мне выпала такая благодарность от государства...?».

Скромно «обмыв» покупку, мы уселись на завалинке в ограде и попросили Василия Григорьевича рассказать о событиях того памятного дня, когда он из рук Председателя Президиума Верховного Совета СССР получил высшую награду.

– Как же доложить-то вам, ребятки, мои приключения? – с хитринкой в глазах произнес он первые слова воспоминаний. – Всеобщее победное ликование постепенно утихало. У нас, 26-летних парней, невольно поступило послабление в службе, больше стали думать о возвращении домой, мечтали о том, как будем начинать дни мирной жизни, предполагали, чем встретит родная земля....

И вдруг извещение о вызове в Москву. Сказали – будете получать награды. Приодели нас, как говорят, с иголочки – новые офицерские гимнастерки, яловые сапоги, портупеи через грудь, и мы предстали перед командиром дивизии. Он наказал нам держаться молодцами, напутствовал, что Москва – не наше ратное хозяйство, где мы преуспели. «По сторонам глазейте, а честь солдата блюдите строго»...

Попутные машины, людные полустанки, переполненные составы поездов, идущие бесконечным потоком на восток, и, наконец, площадь трех вокзалов. Столица! Все промелькнуло, как во сне. Быстро опустели кошельки, вещевые мешки и трофейный чемодан, выданный на двоих старшиной по случаю командировки.

Теплый, но пасмурный вечер не располагал нас к общению со встречными, расспрашивать дорогу не стали, а удобно устроились на привокзальном диване дождаться утра, чтобы чин - чином предстать перед штабным начальством.

– Ваши документы! – донеслось, казалось, как из-под земли, совсем не относящееся к нам требование, но окрик старшего патрульного наряда заставил окончательно проснуться.

– Встать! За нарушение формы одежды сопроводить их (он кивнул патрулям) на гарнизонную гауптвахту!

Спорить не было смысла, и про себя я мысленно благодарил бога за то, что хотя бы выспимся под надежной охраной. Наутро проснулись от скрежета засова двери камеры, снова команда: «На развод!». Пожилой полковник вопросы бросал коротко:

– За что?

– Не по форме одеты.

– По какому случаю прибыли?

– За получением правительственных наград.

– Ваши послужные? – протянул он руку. Взяв пакет, передал сопровождавшему майору: «Изучи и доложи».

Прочитав содержимое пакета, недоуменно взглянув на нас, майор опрометью бросился догонять свое начальство. Полковник, уже узнав, в чем дело, вернулся и приказал майору сопроводить нас в свой кабинет, чтобы привести в наилучший вид и немедленно доставить в приемную Председателя Верховного Совета.

Через час у меня на груди засияли Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина и еще два ордена Красной Звезды, затерявшиеся за долгие годы войны.

– Вот такая, братцы, история, – смеясь, закончил Василий Григорьевич Злыднев.

Теперь я об этом рассказываю своим друзьям и детям. Пусть этот рассказ будет доброй памятью Герою.

Редактор, корректор – М.А. Ефимов
Компьютерная верстка –Е.А. Тихонова
Компьютерный набор – Э.Ш. Мальцева

Отпечатано в типографии ООО «Печатник»
Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, 2,
тел./факс 8(34254) 3-63-91. Тираж – 250 экземпляров, 2015 год.